


ВОЕННЫЕ МЕМУАРЫ



Ф. М. ПОНОЧЕВНЫЙ  
**НА КРАЮ ЗЕМЛИ  
СОВЕТСКОЙ**





**Федор Мефодиевич  
ПОНОЧЕВНЫЙ**

В О Е Н Н Ы Е М Е М У А Р Ы

---

П О Л К О В Н И К  
Ф. М. П О Н О Ч Е В Н Ы Й

# НА КРАЮ ЗЕМЛИ СОВЕТСКОЙ



---

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР  
МОСКВА • 1964



Имя Федора Мефодиевича Поночевного прославлено в Советском Военно-Морском Флоте. В годы Великой Отечественной войны о нем и его батареях было написано немало очерков, рассказов, стихов, песен. Матросам Северного флота полюбилась частушка:

Удел врага всегда плачевный,  
Когда стреляет Поночевный.

Семь лет прослужил Ф. М. Поночевный на побережье Ледовитого океана. С первых дней войны он был помощником командира, а потом командиром тяжелой морской батареи на скалистом полуострове Среднем. Это единственная в своем роде батарея, которая с первого и до последнего дня войны оставалась на государственной границе и все время вела огонь по морским целям, надежно блокируя вход и выход из захваченного фашистами Петсамо — незамерзающего порта на Баренцевом море.

Автор книги хорошо сохранил в памяти все виденное и пережитое. Он с любовью рассказывает о боевом труде и повседневной жизни своих батарейцев, воссоздает перед читателем яркие портреты романтиков Севера, молодых людей предвоенного поколения, которые ценою своей крови и жизни защищали Родину от иноземных завоевателей.

*Поночевный Федор Мефодиевич*  
НА КРАЮ ЗЕМЛИ СОВЕТСКОЙ

М., Воениздат, 1964, 224+1 вкл.

Редактор *Конюшенко М. Д.*

Художник *Васильев В. В.*

Художественный редактор *Голикова А. М.*

Технический редактор *Зудина М. П.*

Корректор *Романова М. В.*

Сдано в набор 28.1.64 г.

Г-13113

Подписано к печати 4.4.64 г.

Формат бумаги 84×108<sup>1/32</sup> — 7 печ. л. 11,48 усл. печ.л. + 1 вкл. <sup>1</sup>/<sub>16</sub> печ. л. =

= 0,103 усл. печ. л. 11,679 уч.-изд. л.

Изд. № 3/5124

Тираж 65 000

ТП 64 г. № 118

Зак. 1191

Набрано в 1-й типографии

Военного издательства Министерства обороны СССР

Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Отпечатано во 2-й типографии Воениздата

Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10.

Цена 50 коп.

## **Поночевный Федор Мефодиевич НА КРАЮ ЗЕМЛИ СОВЕТСКОЙ**

### **Предисловие В.И. Калинина**

«Конец врага всегда плачевный, когда стреляет Поночевный!» - этот девиз, придуманный моряками Северного флота, как нельзя более точно характеризует боевую службу Федора Мефодиевича Поночевного, бывшего помощником командира, а затем и командиром прославленной 221-й береговой батареи Северного флота, а потом и 140-й батареи, которые провели наибольшее число стрельб по морским целям во всем Военно-морском флоте СССР в годы Великой Отечественной войны. Закончил войну Поночевный в должности начальника штаба 113-го отдельного артиллерийского дивизиона, в состав которого входили эти 130-мм батареи, а также новая 152-мм батарея № 210, вооруженная пушками МУ-2 и построенная во второй половине 1943 года.

Эти батареи были размещены на полуострове Средний и могли обстреливать узкий входной фарватер, ведущий в залив Петсамо, где располагались порты Петсамо и Линнахамари. Из портов залива Петсамо немцы вывозили важнейшее стратегическое сырье – никелевую руду, а также осуществляли через них снабжение своей армейской группы «Норвегия», имевшей задачу захвата Мурманска. Все это предопределило ожесточенный характер артиллерийской борьбы на этой важнейшей коммуникации, значение которой первоначально явно было недооценено советским командованием.

Действия батарей, где служил Поночевный, уже описывались в специальной литературе, а именно в соответствующих книгах Виноградова и Перечнева. Очень много места уделяет им в своих воспоминаниях командующий Северным оборонительным районом Северного флота генерал С.И. Кабанов, однако взгляд на боевые действия историка, работающего с архивными документами, или командира высокого ранга, следящего за боем из своего штаба или наблюдающего за ним с командного пункта, не может не отличаться от взгляда человека, лично управлявшего огнем батареи и находившегося под непосредственными ударами артиллерии и авиации врага.

Книга просто изобилует интереснейшими деталями и подробностями. Любой читатель, интересующийся эволюцией фортификационных сооружений береговой обороны, найдет в ней наглядное объяснение – почему разнос орудийных дворишков между собой вырос до сотен метров, как изменилось устройство самого дворика, как разнесенное хранение боезапаса сделало невозможным его одновременный подрыв, в общем как именно в условиях жесточайшего противодействия неприятеля батареи, тем не менее, сохраняли боеспособность. Также автор наглядно показывает, что деревоземляные конструкции для стационарных батарей, несмотря на все старания инженеров-фортификаторов, не могут полноценно выполнять свои функции, как

соответствующие железобетонные или даже каменно-бутовые конструкции, из-за высокой пожароопасности дерева. Не случайно, когда С.И. Кабанов прибыл в 1943 г. во Владивосток командовать Береговой обороной, он немедленно начал переустановку батарей Артемовского сектора, защищавшего Владивосток с суши, с деревянных оснований на бетонные и заново производить разнесенную посадку всех объектов батарей, строго соблюдаясь с боевым опытом, полученным артиллеристами-североморцами.

Автор наглядно показывает на примере строительства командного пункта 140-й батареи, насколько важнее в береговой фортификации грамотное применение объектов к местности, чем бессмысленное наращивание защитных толщ, когда неграмотно посаженный по приказу командира дивизиона КП 140-й батареи был уничтожен немцами на завершающей стадии строительства, а под завалами горящих бревен оказались отрезанными строители, спасение которых привело к неоправданным жертвам среди личного состава батареи. Очень много можно почерпнуть из этой книги и касательно тактики применения артиллерии.

В своих воспоминаниях автор беспощаден к сослуживцам и особенно к вышестоящим начальникам, однако он не жалеет и себя самого. Поночевный был безусловно продуктом своего времени, человеком поколения, чья юность пришлась на разгар братоубийственной гражданской войны, особо свирепый характер носившей на его родной Украине. С какой-то особенно пугающей откровенностью Поночевный описывает, как в пятнадцатилетнем возрасте он пытался сжечь живьем своего соседа, заперев его в сарае, а потом, будучи уже взрослым человеком, рассказывал об этом девушке, за которой ухаживал. С неподдельным злорадством он рассказывает, что чудом выживший его враг был потом раскулачен и сослан во время коллективизации. Оставаясь предельно честным мемуаристом, он прямо пишет о том, что большинство его деревенских товарищей впоследствии погибли от голода, последовавшего за коллективизацией, однако прямо о причинно-следственной связи этих событий не говорит, хотя возможно их понимает.

Он очень откровенно пишет, как непомерные амбиции начальников в условиях войны зачастую вели к напрасной гибели людей, причем он не щадит в этом отношении и себя самого. Когда 140-й батарее, которой он командовал, придали зенитную батарею, то он не пошел знакомиться с ее командиром, полагая, что зенитчик должен прийти к нему первым, чего тот делать не стал. В результате между тесно взаимодействующими командирами не был установлен доверительный контакт, что привело к трагическим последствиям. Когда над огневой позицией завис немецкий самолет-разведчик (знаменитая рама), чтобы дать точные целеуказания неприятельской артиллерии, то на просьбу Поночевного отогнать особо опасный для батареи самолет последовал отказ, так как командир зенитной батареи имел четкую инструкцию по одиночным самолетам огня не открывать, не сообразив при этом, что одиночный самолет-корректировщик может быть опасней целой эскадрильи бомбардировщиков.

Пока Поночевный докладывал о происходящем безобразии генералу Кабанову, пока тот давал команду зенитчикам уничтожить или отогнать самолет, время было упущено, и немец увидел все что хотел. Расплата последовала незамедлительно – на огневую позицию обрушился точнейший огонь немецкой артиллерии и личный состав понес большие потери. Урок был усвоен обоими командирами и их начальниками, отдавшими немедленный приказ об установлении товарищеских отношений «смежников», и впредь подобных недоразумений не было.

Поночевный пишет о том, какому страшному разгрому подверглась 221-я батарея на старой плохо выбранной позиции и со слабым фортификационным оборудованием, когда немцы оценили ее значение и заставили замолчать на несколько месяцев. Однако когда эта батарея, переустановленная заново с учетом боевого опыта, а также новая 140-я батарея вновь открыли огонь, то немецкая артиллерия и авиация наносили им по-прежнему очень большой ущерб, хотя подавить их противник теперь уже не мог. Поночевный описывает, как находясь на одних и тех же стационарных позициях, его артиллеристы несли невероятные тяготы напряженной боевой службы в условиях Заполярья, как постепенно расшатывались их нервы, и как с неотвратимостью месяц за месяцем постепенно погибали под неприятельским огнем его боевые товарищи.

Изданная в 1964 г. книга стала библиографической редкостью и была незаслуженно забыта. Мы надеемся, что ее первая сетевая публикация, предпринятая на сайте [rufort.info](http://rufort.info) заполнит многие пробелы в знаниях читателей. Книга Ф.М. Поночевного «На краю земли советской» являет собой удивительный пример сочетания подробного и яркого описания «окопной правды», непомерных тягот и человеческих страданий, вызванных войной, и показа творческой, интеллектуальной стороны военного дела, связанной со спецификой береговой артиллерии и фортификации. К этой книге не может быть высказано каких-либо критических замечаний, ее обязательно должен прочитать каждый, кому не безразлична история береговой артиллерии Военно-морского флота СССР.

*Владимир Калинин*  
*ноябрь 2007*

## **Поночевный Федор Мефодиевич** **НА КРАЮ ЗЕМЛИ СОВЕТСКОЙ**

Военное издательство Министерства Обороны СССР  
Москва, 1964



Имя Федора Мефодиевича Поночевного прославлено в Советском Военно-Морском Флоте. В годы Великой Отечественной войны о нем и его батареях было написано немало очерков, рассказов, стихов, песен. Матросам Северного флота понравилась частушка:

Удел врага всегда плачевный,  
Когда стреляет Поночевный.

Семь лет прослужил Ф. М. Поночевный на побережье Ледовитого океана. С первых дней войны он был помощником командира, а потом командиром тяжелой морской батареи на скалистом полуострове Среднем. Это единственная в своем роде батарея, которая с первого и до последнего дня войны оставалась на государственной границе и все время вела огонь по морским целям, надежно блокируя вход и выход из захваченного фашистами Петсамо — незамерзающего порта на Баренцевом море.

Автор книги хорошо сохранил в памяти все виденное и пережитое. Он с любовью рассказывает о боевом труде и повседневной жизни своих батарейцев, воссоздает перед читателем яркие портреты романтиков Севера, молодых людей предвоенного поколения, которые ценою своей крови и жизни защищали Родину от иноземных завоевателей.

Поночевный Федор Мефодиевич  
НА КРАЮ ЗЕМЛИ СОВЕТСКОЙ

М., Воениздат, 1964, 224+1 вкл.

Редактор Конюшенко М. Д.

Художник Васильев В. В.

Художественный редактор Голикова А. М.

Технический редактор Зудина М. П.

Корректор Романова М. В.

Сдано в набор 28.1.64 г. Г-13113 Подписано к печати 4.4.64 г.

Формат бумаги 84X108 1/32782 — 7 печ. л. 11,48 усл. печ.л. + 1 вкл. 1/16 печ. л.= 0,103 усл. печ. л. 11,679 уч.-изд. л.

Изд. № 3/5124 Тираж 65 000 ТП 64 г. № 118 Зак. 1191

Набрано в 1-й типографии Военного издательства Министерства обороны СССР Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Отпечатано во 2-й типографии Воениздата Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10.

Цена 50 коп.

Книга отсканирована Ю.В. Ивановым, военно-исторический клуб  
"Владивостокская крепость", распознавание и правка - Семко В.Ю.



## **К ЧИТАТЕЛЯМ**

Декабрь 1963 года. По улицам Москвы, припорошенным сухим снегом, медленно идут двое. Один, чуть пониже, широкоплечий, с тяжелой палкой в левой руке, в темных очках, крепко держится за руку товарища.

— Иди, иди, командир, — приговаривает он, — я чувствую твой шаг...

Это комиссар Виленкин, с которым мы расстались два десятилетия назад, когда его ранило осколками вражеского снаряда в тяжелом бою. Думал ли я тогда, на полуостровах в Заполярье, что много лет спустя встречу со своим комиссаром в Москве, в год, когда ему исполнится шестьдесят?!

Встречи с боевыми друзьями, вечно живые воспоминания о пережитом, некоторые записи военных лет, фотографии и пожелтевшие вырезки из газет, а главное, желание рассказать про таких, как Виленкин, Ковальковский, Кошелев, Рачков, Мацкевич, и про многих других правофланговых фронта Великой Отечественной войны — вот что побудило меня написать эту книгу. Я старался взглянуть на прошлое с позиций накопленного жизненного опыта, критично отнестись к своим поступкам и поступкам ближайших товарищей сохраняя при этом дух и характер наших взаимоотношений в те годы, незабываемую атмосферу тех пламенных лет, когда мы, не жалея сил и жизни, добывали победу над врагом.

Большую помощь в выполнении этого замысла оказал мне писатель Владимир Александрович Рудный. Сердечное спасибо ему за это.

*АВТОР*

## **МЫ ИДЕМ НА РЫБАЧИЙ**

В море мы вышли на рассвете. Рейсовый пароходик добрался до Кильдина к исходу ночи, оставил предназначенные для острова грузы и, взяв на борт пассажиров, под утро направился в Баренцево море. Мы прозвали этот пароходик «Субботником» — каждую субботу те, кто увольнялись на материк, шли на нем в город Полярный. Сегодня «Субботник» на дальней линии Мурманск—Рыбачий. Пароходик этот мне хорошо знаком. Впервые я попал на него полгода назад в Мурманске, когда прибыл на Север. И снова, как тогда, я торчал на палубе, жадно разглядывая крутые скалистые берега острова и материка, и с волнением ожидал встречи с океаном. По-настоящему я еще не видел Ледовитого океана, хотя за месяцы службы на Кильдине уже почувствовал его холодное дыхание.

Полгода назад, в мае 1940 года, мы, выпускники Севастопольского военно-морского артиллерийского училища имени ЛКСМУ, вышли из вагона в Мурманске и, притихшие, ошеломленные, ступили на таинственную и в нашем воображении сулящую неожиданности землю Заполярья. Позади был необычный, полный переживаний и впечатлений апрель. Бушлат и курсантскую бескозырку заменили китель с золотыми нашивками и чуть набекрень надетая командирская фуражка. Непривычно звучали пока еще вгоняющие в краску, но сто раз на дню нарочито повторяемые слова: «Товарищ лейтенант». «Товарищ лейтенант, ко мне!», «Товарищ лейтенант, вы сегодня дежурный!», «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться». Знакомые девушки, привыкшие к нам, как к простым парням-курсантам, почти краснофлотцам, при виде лейтенантских нашивок смущенно переходили на «вы». А за этими чисто внешними впечатлениями нарастало другое — глубокое и серьезное. Тревожило будущее, сложности командирского пути. «Будут ли тебе подчиняться люди старше тебя по возрасту?..» Ночи напролет мы спорили о букве и смысле уставов, о человечности, о разнообразии характеров будущих подчиненных, о романтике и прозе жизни. Словом, все искреннее, честное и юношески самонадеянное выплеснулось в те дни прощания с училищем и детством, перед новым назначением на рубеж, где нас ждала строгая мужская жизнь и война. Мы не знали тогда, что она так близка, но война уже катилась по Европе, и мы понимали, что она будет.

Выбор места службы для большинства выпускников был обусловлен одним стремлением: туда, где сложнее, интересней, где ты нужнее всего. Я не помню, чтобы кто-либо из нас в тот памятный апрель 1940 года говорил об удобствах, выгоде или комфорте. В каждом жила сокровенная, быть может, и ребяческая мечта — преодолеть трудности. Если и были тогда среди нас парни, озабоченные так называемым распределением, то свою постыдную слабость они скрывали прежде всего от курсантов и всякое «устройство» обделывали втихую, заранее зная, что, кроме презрения и осуждения, им ждать от нас нечего.

Мы, восторженные юнцы лейтенанты, умозрительно рассуждали об обязанностях и назначении командира-воспитателя. Но мы горячо верили в святость воинского долга и были очень честны. Много прорех в обучении обнажила потом суровая проверка каждого из нас в бою. Но одно несомненно: училище крепко подготовило нас к труду.

Север мы романтизировали так же, как и всякую другую жизненную целину. Север осваивали зимовщики, папанинцы — предмет поклонения всех моих сверстников. Каждый мечтал быть на их месте. А я — особенно. В Полярном, куда я получил первое назначение, вот уже четыре года работал мой старший брат Максим. Нас, будущих северян, в училище считали счастливыми. И вот выпускники получили наконец свои командирские путевки .

За тем необыкновенным и памятным апрелем последовала не менее бурная и стремительная неделя мая. Началось путешествие через всю страну с юга на

север и расставание с однокашниками. Расставание на долгие годы, а со многими — навсегда. Одни остались служить на Черном море и позже героически обороняли Севастополь, защищали Новороссийск. Другие направлялись на Дальний Восток. Третьи — в Ленинград и на Балтику. А мы, будущие североморцы, держали путь к Ледовитому океану, к Мурманску. Москву и Ленинград я увидел впервые. Черноморское лето с его садами в белом розовом цвете сменилось мягкой балтийской весной. И вдруг где-то в районе Кандалакши — внезапная зима: пурга, белая пелена на лесах и болотах, снег, которого мы почти не видели в Севастополе. Мигом позабыв о лейтенантском достоинстве, мы выбежали на какой-то станции и затеяли настоящее мальчишеское сражение снежками. Потом притихли у окон вагона, въезжая в новое чудо, в царство белой ночи — тихое, спокойное, но уже совсем без снега. Одно сознание, что мы пересекли Северный Полярный круг, подавляло. Черт возьми, мы уже в мире белых медведей и дрейфующих льдин! Мой друг и однокурсник Зяма Роднянский, добрый, неунывающий юноша, стал утешать всех: вот-де и на Севере тепло, почти как на Юге, снега нет и круглые сутки день... Я растерянно бормотал про метели, морозы и валенки, которыми придется обзавестись. Мне казалось: раз в Заполярье живет брат, значит, я знаю про Арктику все. Зяма беспечно рассмеялся, сказав, что тогда уж подойдут не валенки, а унты, не шуба нужна командиру, а оленья малица и спальный мешок. А через два дня в Полярном, когда мы выскочили из дому, где жил брат, на заваленную внезапным снегопадом улицу и в ботинках, в легких шинелях поплыли по сугробам на первый прием к начальству, настал мой черед отвести душу. Я не шутил, а зло издевался над своим другом, который на ходу оттирал сизые уши и нос. Впрочем, Зяма и там продолжал свое. Он, как и в вагоне по пути к Мурманску, утешал нас тем, что в этом году мы дважды встретим весну...

Мы сошли тогда с поезда в Мурманске и в ожидании оказии в Полярный всю ночь бродили по улицам, разглядывая стиснутый гранитными сопками город, который на долгие годы стал для нас столицей. А утром на рейсовом пароходике, на том самом «Субботнике», на котором я шел и сейчас, отправились по Кольскому заливу в Полярный — в то время там была главная база Северного флота. Мне и Роднянскому дали отдельную каюту, но мы остались на палубе, глаза на черные скалы, увитые у подножия снегом. Я вырос в Стайках, на Днепре, среди вишневых садов и днепровских круч. Близость к природе наложила отпечаток на мой характер, привила склонность к созерцательности, сентиментальным мечтаниям и, как говорили в училище, к сельской медлительности. Курсанты допытывались, не пишу ли я стихов. Чаркой горилки иногда выуживали на посмешище мои далеко запрятанные слезливые вирши. Природой могу любоваться ненасытно, я и в Севастополе с его белыми скалами и высоким небом часами стоял у моря. А тут, на Севере, перед нами открылась невиданная картина: при незаходящем солнце вечно розовый, как яблоко, восток, холодное спокойное небо, расширяющийся коридор Кольского залива. И вода — темная, тяжелая, совсем непохожая на



желтую днепровскую или на черноморскую, светло-синюю, отражающую цвет неба. Зрелище это вызывало не только восторг, но и удивление. У Роднянского это удивление прошло довольно быстро: он горожанин, повидал больше моего и всегда, на зависть мне, быстро находил друзей среди попутчиков. На пароходе он мгновенно потряс юную попутчицу искрометным курсантским монологом, завязывая, как говорили в училище, самый классический из морских узлов. А я, сам двадцатилетний, позавидовал его молодости, но остался на верхней палубе до самого Полярного, где на причале меня ожидал Максим.

А потом нахлынули заботы, радости и огорчения, связанные с первыми шагами по службе. Позже я без конца вспоминал и думал о тех днях. По существу, прошедшие полгода были не службой, а лишь примериванием к ней. Вначале «лейтенант без должности». Потом «лейтенант на должности», но без возможности по-настоящему работать, пока наконец я не получил твердого и, кажется, удачного назначения на полуостров Рыбачий.

И вот снова прощание с берегом. Ухожу еще дальше от Полярного, в глубь Арктики, как будто надолго. Наступил ноябрь. Белое лето позади. День стремительно сокращается. Есть теперь и закаты и рассветы, хотя полдень почти не отличается от утра и вечера — серо и тускло весь недолгий день. Скоро начнется полярная ночь, о которой говорят, как об испытании нервов и духа новичка. Я должен ее выдержать, как выдерживаю пока все, что мне внове и не по нутру. Ведь это только начало. Если выстою этот год, то привыкну и справлюсь со всем, что ждет впереди.

Мы идем медленно, с трудом одолевая густую встречную волну. Чем дальше от Кильдина, тем круче и грознее волна. Такого моря я еще не видывал. Знаю, что тут проходит теплое течение и потому нет льдин, но само море кажется расплавленным льдом, в него не сунешься и не нырнешь без нужды. Волна, тяжелая и гулкая, рушится с такой силой на палубу, что замирает сердце: того и гляди, срежет надстройки. Но пароходик только стонет и все выдерживает. А люди мучительно переносят качку. Большинство разбрелось по каютам, на палубе остались лишь те, кто хочет выдержать марку перед самим собой.

Мой новый командир, старший лейтенант Космачев, тоже ушел вниз. Он — человек закаленный, говорят, неплохой футболист в прошлом, словом, спортсмен, хотя фигура у него не спортивная — коренастый колобок с короткой шеей. А я все еще на палубе, креплюсь, стараюсь не посрамить своей черной морской шинели. Я уже почувствовал бытующее на флоте резкое деление на мореходов и береговиков. Мне, береговому, хочется выглядеть не хуже мореходов и показать, что морская артиллерия тоже не лыком шита. Зря мы с Космачевым позавтракали перед рассветом, сейчас мне нелегко. Раскрываю навстречу ветру рот и заглатываю морской воздух — только бы не укачаться. Морем придется ходить не раз, других путей с полуостровов на материк нет. Я, как мальчишка, рад, что успешно прохожу и это испытание, и твержу себе, как будто зубрю: «Главное, выдержка».

Выдержка, выдержка! — это основное, что я вынес из трудного минувшего полугодия. Не будет выдержки — тоже стану Користовым, если не хуже.

«Користов» — эту фамилию запомню, наверное, навсегда. Из-за него я мог, если и не возненавидеть Север, то во всяком случае надолго захандрить. Попади к нему первому — что было бы со мной?..

В то майское утро, когда мы с Роднянским выскочили в своем южном обмундировании на занесенные снегом улицы Полярного и, переругиваясь, пробивались к штабу Мурманского укрепленного района (МУР), мы не думали ни о каких огорчениях и надеялись всю жизнь служить вместе, преодолеть все, поддерживая друг друга. Преодолеть холод, лишения, полярную ночь. Одного мы не ждали — обид. На старожилов я смотрел с обожанием, не разбираясь, кто злой, а кто добрый: все они боги, раз северяне. Первый же на пути «бог» — дежурный по штабу — хотел погонять и попугать нас предстоящей встречей с начальством. Но эту невинную проказу мы быстро раскусили и простили ему: внезапное появление начальства — комбрига Петрова — лишило дежурного этого удовольствия. Прохаживаясь вдоль строя новичков, комбриг рассматривал нас в упор и приводил в трепет, задавая неожиданные вопросы. Столь же неожиданно он сообщил, что батарея, куда я назначен помощником командира, еще не построена, «штат не открыт» и временно меня направят к какому-то Артемову дублером командира огневого взвода. Фразу, брошенную комбригом: «У него есть чему поучиться» — я пропустил мимо ушей. В ту минуту мне казалось, будто я сам виноват, что моя батарея недостроена и потому остаюсь за бортом. Другие получили назначение сразу. Роднянского отправляли на далекий рубеж. Из скромности и уважения к секретам я даже не спросил, что это за рубеж.

— Простимся, лейтенанты, — с торжественной грустью произнес Борис Соболевский, тоже севастиополец, когда мы, опечаленные предстоящей разлукой, вышли от комбрига. Пожимая наши руки, Соболевский добавил: — Встретимся, наверное, не скоро.

И всем стало тоскливо. Не знали мы, что встретимся очень скоро.

Не знал я того, что в тот день мне очень повезло. Я попал не к «какому-то Артемову», а к командиру лучшей на Северном флоте батареи. Она находилась близко от Полярного, на материке, но никаких дорог туда нет, сообщение поддерживается катером.

Я был прикомандирован временно, и капитан Артемов не очень-то мною занимался. Но именно этот месяц службы без должности я вспоминал в последующие годы не раз и не два. От первого впечатления зависит очень многое для молодого командира, особенно в такой обстановке, как на Севере. На первых порах ищешь рядом образец для подражания. Привыкнув и освоившись, начинаешь действовать сообразно своему характеру, воспитанию и

осмысливаемому опыту. А в пору, когда тебя только-только бросили в самостоятельное плавание, не научив как следует плавать, тебе нужен командир-идеал. Впрочем, жизнь меня убедила, что могут сгодиться и пойти на пользу даже воспоминания о плохом командире, особенно если этому предшествует встреча с хорошим.

Так вот, месяц у Артемова стал своеобразной прелюдией ко всей моей дальнейшей флотской службе. Прежде всего я усвоил здесь главное: и в Заполярье можно и должно служить с достоинством, не теряя человеческого облика.

Пусть читателю не покажется странной эта мысль. Жизнь на Севере очень трудна, это известно всем. Тут не уволишься в свободный час в город, на Невский проспект или на Приморский бульвар. Киносеанс и то событие, а уж новый фильм, да еще не растрепанный киномеханиками,— событие вдвойне. Годами находясь в таких условиях, легко скинуть, опуститься. Потому щегольство батарейцев капитана Артемова было не щегольством, а вызовом тяжелым условиям жизни, своего рода самоутверждением человека, лишённого тепла, нормального отдыха и многих элементарных удобств. Все это я осознал потом, став надолго северянином на земле, еще более неустроенной, чем тот мыс, где начинал службу на Севере. А тогда, в тот первый месяц, я приглядывался к капитану Артемову, ко всем его поступкам, ловя каждое слово и жест, впитывая все, что мне в нем нравилось.

Так я нашел идеал командира, не только внешне ладного и подтянутого, но и отлично умеющего разговаривать с разными по характеру людьми. Я откровенно подражал ему, хотя и чувствовал себя задетым: практически меня не допускали к орудиям батареи. Мне объяснили, что артиллерией занимаются штатные офицеры, а дело дублера — строевая подготовка, причем даже не огневиков, к которым я был назначен, а взвода управления, подчиненного помощнику командира батареи. Я ревностно занимался с краснофлотцами этого взвода, называя их «мои сигнальщики», «мои дальномерщики», «мои связисты». Это были мои сверстники, в большинстве своем заводские ребята или поморы. Несмотря на холода, они одевались легко и красиво, явно гордясь морской формой. Я тоже любил морскую форму и охотно щеголял ею и на севастопольском Приморском бульваре и в Стайках перед девчатами. Но здесь не было перед кем щеголять. Здесь вызрела просто любовь к своему роду оружия, столь выделявшая моряков на всех фронтах войны. И береговики-артиллеристы старались ни в чем не уступать плавающему составу.

Опасения, что сверстники или «старички» не станут мне подчиняться, улетучились быстро, хотя, быть может, и преждевременно: все это еще ждало меня впереди. Но тут, на батарее Артемова, я обрел некоторую уверенность в себе: значит, и я могу найти общий язык с подчиненными, только надо вести себя ясно и просто, без фальши и подделывания.



И все же я не терял надежды уйти с батареи Артемова. Скоро ли достроят «мою», где я буду уже не дублером, а в штате, где смогу испытать свои командирские возможности, развернуться понастоящему и стать артиллеристом?..

Получив назначение на батарею капитана Користова на острове Кильдине, я первым же катером добрался до Полярного. Именно в тот день, в субботу, отправлялся пароход. Узнав об этом, я отказался от положенного краткосрочного отпуска — только бы скорее быть у цели! Фамилия Користова мне знакома. Я даже помнил его самого по училищу — он был выпускником, когда я поступал на первый курс. Жгучий красавец лейтенант так отплясывал на вечерах самодеятельности лезгинку, что прославился на весь флот. Мы, первокурсники, смотрели на Користова с обожанием. Какой он командир, я не знал, но мчался к нему все в том же восторженном состоянии.

В июльский полдень прямо с причала я ввалился в кабинет командира батареи на Кильдине и одним духом выпалил:

— Товарищ капитан! Лейтенант Поночевный прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы в должности командира огневого взвода.

Користов, не отрывая туловища от стула, посмотрел на меня из-под нахлобученной на глаза фуражки и буркнул:

— Работайте...

Я растерялся. Что это. значит? «Работайте»? Но как? Что дальше? Неужели на том и кончится наше знакомство?..

Переступая с ноги на ногу, я наконец выдавил из себя:

— Разрешите идти?

Капитан уткнулся в бумагу и не ответил. Я постоял, повторил вопрос и вышел, не дождавшись разрешения.

За дверью растерянно остановился и вытер пот с лица. Как быть? Не бегать же по батарее, спрашивая, где мой взвод, и представляясь: «Новый командир огневиков».

Невольно вспомнил своего отделенного командира в училище, жестокого и, как нам казалось, злого. Мы затаили немало обид на него за придирки и непримиримость к нашим проделкам. Но как спокойно было все четыре года за его спиной! Он и расписывал наше рабочее время, и предостерегал от всяких неприятностей, и, по сути, направлял, как нянька, всю нашу жизнь... Попробуй-ка теперь, лейтенант, сориентироваться самостоятельно, определи свою линию

сразу же осложнившихся отношений с командиром... Служить придется тут. Не побежишь в отдел кадров с жалобой, что тебя встретили грубо, как нежелательного... Или, возможно, характер у капитана такой крутой, натура неприветливая? Есть же люди, которые считают наилучшим методом воспитания новичка — ткнуть его мордой о землю... Я не говорю, что каждому военному человеку нужна вышестоящая нянька. Но для того и существует четкая воинская организация, чтобы не создавать анархической самодеятельности и чтобы каждый занял свое место в строю.

Это, конечно, прописные истины. Но потому я и запомнил Користова, что он придерживался иной точки зрения. Он считал: раз ты лейтенант — сам знай, что делать. Обучать должны были там, в Севастополе. А здесь надо работать. Синяки и шишки только на пользу. Но за всем этим было и другое. Забегая вперед, скажу, что позже я понял главную беду Користова: он не служил, а тянул лямку. В училище был всегда на виду — красив, удачлив, избалован успехом. Ему бы блистать в шумном южном гарнизоне, а загнали на остров. Север сломал Користова. Он возненавидел Север и растерял здесь весь прежний лоск. Свое раздражение капитан переносил на подчиненных, особенно на беззащитную молодежь. А новичок всегда в какой-то степени беззащитен — не начинать же службу с претензий и конфликтов. Меня Корнетов невзлюбил еще и потому, что я пришел с батареей Артемова и выглядел уж слишком по-артемовски. Такого надо обязательно проучить, заставить потрепыхаться, чтобы он на своей шкуре испытал, каково франтить на Севере...

Но в тот момент я не знал всего этого и стоял перед кабинетом командира в полном отчаянии, готовый пролепетать спасительное слово «мама».

Выручил старший политрук Владимир Огнев, невысокий, подвижной человек с пышной шевелюрой на непомерно большой голове. Он внезапно возник возле меня, поздоровался, назвал себя, спросил, кто я, взял, как ребенка, за руку и отвел в свою комнату. Вызвав старшину батареи, Огнев приказал подыскать мне жилье, объяснил то, чего я ждал от командира, и мимоходом с улыбкой произнес:

— По любому поводу, когда сочтете нужным, приходите ко мне. А остальное приложится.

Огнев, заместитель командира по политчасти, стал «моим комиссаром». Комиссаров тогда не было, но именно таким я представлял себе комиссара гражданской войны из книг Фурманова и Либединского, из кинофильмов о революции. Комиссар должен с первого взгляда понимать человека, разбираться в его душе, в его состоянии. А Огнев точно разгадал состояние молодого лейтенанта, выскочившего пулей из кабинета командира. Значит, он «мой комиссар».

Огнев многое рассказал о батарее. Ее строили зимой, в полярную ночь, когда мгновенно застывали и вода и бетон, положенный в основание орудий. На матросов, которые выдержали такое, я смотрел с преклонением и втихую казнил себя, что не поспел вовремя, пришел на готовенькое. Вначале казалось, что и матросы смотрят на меня с иронией, как на человека, пожинаящего плоды их героического труда. «А вот попробовал бы ты, лейтенант, попотеть вместе с нами, когда тут была первозданная пустыня!» Хоть бы подвиг какой совершить, чем-то проявить себя...

С таким настроением начал я службу на Кильдине, стараясь по совету Огнева работать, «ни на что не обращая внимания»...

Ох и трудно же давалось это! Как можно было, например, не обращать внимания на командира, который смотрел на новичка, словно на пустое место? Когда на командирской учебе он усаживал меня между собой и своим помощником и заставлял вести карту обстановки, докладывая по ходу игры, я чувствовал себя человеком. Хоть и получишь замечание, но за дело, чему-то научишься, в чем-то преуспеешь, чувствуешь себя на равной ноге с другими. Но после занятий Користов всячески старался подчеркнуть, что молодой лейтенант в сравнении с ним — ничто. Как всякий самовлюбленный человек, он считал себя ущемленным, если кто другой достигал того, чего не дано ему. Хотя он и «не замечал людей», но явно стремился заслужить авторитет. Иногда на капитана находил стих демократизма: он начинал не к месту рассказывать краснофлотцам анекдоты, бросал подчеркнуто простецкие фразы... Краснофлотцы, всегда чуткие к фальши и нарочитому заигрыванию, не принимали таких подачек.

Ко мне взвод относился неплохо, особенно после того, как мы ночью в шторм искали унесенную волной шлюпку. Шлюпку, конечно, не нашли, но несколько часов, проведенных на маленьком боте среди бушующих волн под неусыпным глазом старожиллов батареи, сблизили нас. Матросы ревностно следили за поведением лейтенанта — трясутся ли у него поджилки? Помню, что и поджилки у меня тряслись и неимоверно трусил я в ту ночь на скорлупке, заливаемой волнами, но все же выдержал экзамен.

Користова это злило. Он стал настойчиво меня «воспитывать». То учинял разнос за подчиненного не мне, а Космачеву краснофлотца, уснувшего на посту (своего помощника старшего лейтенанта Космачева Користов почему-то боялся). То при всем взводе называл меня сосунком и растяпой, присланным на его, капитанскую, шею. То настойчиво повторял свою любимую присказку: «За что только вам деньги платят?»

Однажды капитан пришел проверять состояние орудий. Найдя на дульном срезе не стертый после недавней покраски сурик, он закричал, что это ржавчина, и опять завел свое: «За что вам деньги...» Все мы были оскорблены: нет большего позора для артиллериста, чем ржавчина на орудии. Я не удержался и возразил,



что это не ржавчина, а краска, хотя и ее не должно быть. Користов уже сам понял, что ошибся. Но он не умел уступать.

Когда он ушел, меня окружили краснофлотцы. Какое-то время я стоял, понурился головой и не совсем понимая, что произошло. Очнувшись, услышал сочувственный ропот и ужаснулся. До чего нелепое положение возникло из-за строптивости сумасбродного человека. Все, что случилось, — дикая несправедливость, но мы же военные люди, самое худшее — это поощрять сейчас сочувствие подчиненных, ставить и себя и их в ложное положение по отношению к командиру. Не к Користову, цену которому знал на батарее каждый, а именно к командиру батареи.

— Приступить к занятиям! — как можно строже подал я спасительную команду, странную и даже грубую в тот момент.

Но краснофлотцы поняли все. Каждый поглубже спрятал сочувствие.

После четырех с лишним месяцев службы у Користова назначение на полуостров Рыбачий я принял как избавление. Туда, на 221-ю батарею, командиром уходил Космачев. Я уже говорил, что его побаивался Користов, чувствуя в нем человека волевого и упрямого. Каково будет служить под его началом, я не знал. Характер у Космачева как будто не из легких, но не в этом суть. Лишь бы он дал как следует работать. Жаль расставаться с матросами, к которым уже привык. По малозаметным знакам внимания с их стороны было ясно, что мы поняли друг друга. Но не вызвана ли эта симпатия сочувствием, протестом против несправедливости? Мне хотелось заслужить дружбу, основанную на боевом деле. Дружбу без скидок, без сравнения с другими командирами. Такая дружба прочнее, и я мечтал о ней, отправляясь помощником командира береговой батареи на неведомый полуостров.

Я знал о Рыбачьем мало, лишь то, что вычитал в лоции Баренцева моря, наспех просмотренной в каюте капитана парохода. Шестидесят девятая и даже семидесятая параллели — это уже высокие широты. Край материка, край земли нашей выглядел как придаток к ней на географической карте Европы. Рыбачий и Средний — два полуострова, один словно подвешен к другому, между ними узкий перешеек, а дальше перешеек, соединяющий Средний с материком. Там Финляндия и Норвегия. У штурмана я разглядывал морскую карту, отпечатанную еще до войны с белофиннами. Новую границу штурман нанес на нее цветным карандашом. Про войну в этих широтах почти ничего не писали. Было известно, что незамерзающий порт Лиинахамари и древняя Печенга, занятые нашими войсками, отданы Финляндии и сейчас туда, в эту гавань, ходят военные транспорты. На морской карте побережье казалось гладким, однообразным, но, прожив на Севере полгода, нетрудно представить себе действительный рельеф местности. Где-то на гранитном берегу полуострова Среднего поставлена батарея, о которой старший командир, напутствуя нас, сказал, что она стратегически важная и является ключом одновременно и к

Кольскому заливу и к Варангерфиорду. Но где стоит эта батарея, я не представлял себе, все надо было увидеть своими глазами.

А пока весь день я без усталости впивался в горизонт, пытаюсь рассмотреть далекие скалистые вершины полуостровов. Они то исчезали за высоким гребнем волны, то надвигались ясно, но зыбко, как мираж.

Мы шли к этим вершинам долго, больше суток, при неутрачивающем шторме. Пароход заглядывал почти в каждую бухточку по пути. Порт-Владимир, Ура-губа, Ара-губа, Западная Лица, Пикшуев, Мотка, Титовка — эти никогда не слышанные названия трудно было сразу усвоить. Все они вспомнились потом, в войну, когда за побережье разгорелись бои и каждый из этих пунктов стал местом сражений с фашистскими частями, отрезавшими наши полуострова от мурманского берега. В некоторых бухтах мы подходили к причалу, в других ждали на рейде шлюпку с берега. Всюду радостно встречали наш пароход: он доставлял зимовщикам, рыбакам, пограничникам письма и газеты.

В Мотовском заливе море утихомирилось. Под вечер вошли в бухту Озерко. Из кают и трюмов на палубу высыпали пассажиры. Мы попали в полосу густого тумана. [17]

На носу часто и гулко бил колокол. Басил гудок, подавая предупреждающие сигналы. Пароход почти вплотную приблизился к полуострову. Туман опал, и нам открылся гранитный берег в белой пене прибоя. Показав куда-то на запад, мой командир сказал: — Там наша батарея.

После войны с белофиннами не прошло еще года. Сейчас тут мир. Мир и с фашистской Германией. Но я прибыл в этот далекий уголок с чувством неясной тревоги. Мы не забыли испанских событий и настороженно ловили в газетах каждую строку о возне наших неожиданных «друзей» возле советских границ. А теперь я сам буду служить на границе.

## **ПОГРАНИЧНАЯ БАТАРЕЯ**

Гавань называлась Западное Озерко. Долгие годы это название у каждого из нас на полуостровах вызывало блаженные надежды на относительную тишину, отдых после бомбежки и артиллерийских налетов и скудные развлечения. Во время войны и Западное и Восточное Озерко стали тылом нашего участка фронта, районом подземного госпиталя, военторга, медиков и «мыльного пузыря» — так называли у нас банно-прачечный отряд. А тогда, до войны, восточный берег был совсем пуст, а на западном стояло всего несколько жилых домиков и почта.

Наш пароход подошел к небольшому деревянному причалу на сваях. Ни пирсов, ни портовых механизмов тут, конечно, не было. Обыкновенный дикий, изрытый приливами и отливами каменистый берег с разбросанными кое-где на отмелях

шлюпками. На черном овале заливчика, действительно похожего на озеро, болтались буксир и баржа. Бочки, ящики, дрова выгружали прямо на снег. Черный и белый — только два цвета существовали в ту минуту в природе: черная вода и белый берег. Все выглядело так однообразно, что никаких красок и оттенков глаз не воспринимал. Домишки на склонах казались необитаемыми. Из-под снега кое-где выглядывали хлысты карликовых березок. Можно было лишь догадываться, что под белой пеленой скрыты лощины, обрывы, изломы скал, нагромождение камня. В ту сторону, куда только что показывал с борта парохода Космачев, тянулась равнина. Это и есть, очевидно, перешеек, соединяющий полуострова, но нигде даже намек нет на тропинку.

В тот момент мне показалось, что вся жизнь отныне потечет как бы вполголоса. Разговаривали вокруг сдержанно, немногословно. Пограничники строго проверяли документы и груз и как-то по-домашнему, по-соседски приглашали в свою комендатуру передохнуть, дожидаться там лошадей с батареи. Мы с пограничниками соседи. Народу здесь на обширнейших полуостровах не густо, все знают друг друга в лицо. К нам, новичкам, присматриваются, спрашивают, жаждут узнать новости с Большой земли. Неважно, что я покинул Севастополь полгода назад, а в Москве и Ленинграде побывал лишь проездом, — я обязан вспомнить все мелочи, выжать из себя все возможное, чтобы утолить естественную тоску людей по обжитым теплым землям. Позже и я требовал того же от каждого приезжего человека, считая неразговорчивость признаком черствости. А в тот момент меня клонило ко сну, в голове было пусто, и я с трудом произносил весьма невразумительные фразы.

Начальник погранзаставы провел нас в свой кабинетик. В тепле возле пылающей печурки совсем разморило, и, чтобы не хандрить, я немедленно занялся делом. С разрешения командира пограничников вызвал по телефону батарею и попросил кого-нибудь из командиров, чтобы узнать, давно ли выслали за нами лошадей. Мне ответил знакомый голос:

- Лейтенант Роднянский слушает.
- Зяма, ты? Вот не думал, что ты здесь. Узнаешь?
- Федя! Какими судьбами?
- В гости...

Роднянский быстро подхватил привычный между нами шуточный тон.

- Значит, есть бог на свете, — обрадовался мой друг. — Все-таки будем служить вместе. У нас и должность свободна: ждем командира огневого взвода.
- Как?! — вырвалось у меня, но я вовремя спохватился. — Ну что же, охотно пойду к тебе в подчинение. Ты помощником?
- Да, — подтвердил Роднянский. И после паузы тихо добавил: — Временно.

Я молчал. Привыкшие к полной откровенности, мы оба растерялись. Неловко спросил, как добраться на батарею. Зяма рассмеялся и сказал, что за нами

посланы лошади. Тут же он что-то заметил по поводу моих скромных дипломатических способностей, сказал: «До встречи» — и положил трубку.

«До встречи». Какова будет теперь эта встреча? Неужели мы, закадычные друзья, превратимся в соперников на почве должностей?..

Космачев слышал наш разговор и ухмылялся. Ну конечно, ему, человеку с опытом, старшему, все это кажется ребячеством. А может быть, он вообще считает подобные сомнения чепухой — назначили, твое дело служить! От этой мысли хандру у меня как рукой сняло, но веселее не стало.

Была уже ночь, когда в комнатушку ввалились два человека в добротных тулупах, шапках и валенках, в снегу с головы до ног и доложили, что прибыли за нами. Мордастый парень с белесыми бровями на красном от мороза лице, опустив воинское звание, назвал себя ездовым Степановым. Он, и верно, больше был похож на ямщика, чем на военнослужащего. Узнав, кто из нас командир, ездовой многословно стал объяснять Космачеву про забитые снегом дороги, по которым пришлось не ехать, а пробиваться. Но раз нужно начальству, он, Степанов, сделал свое дело... С трудом сдерживаясь, Космачев предложил подождать до утра и вызвать с батареи трактор, чтобы пробил колею. Но ездовой Степанов совсем не для того пугал нас дорогой, чтобы дожидаться утра.

— Мишка не подведет, Мишка вывезет, — сказал он и тут же объяснил, что Мишка — это знаменитый на полуостровах жеребец-производитель. — Мишку нужно хорошо накормить, и тогда он доставит командира без всякой колеи хоть на край света...

Космачев пожал плечами и приказал досыта накормить Мишку.

Мы сидели молча, обескураженные таким началом. Я знал, что Космачев не терпит разболтанности, но и он молчал, приглядывался. Ездовые вернулись с пузатыми торбами. Выгрузили на стол гору консервов, шпиг, замерзший хлеб. Не торопясь, разделись и не то посоветовали, не то предложили нам «подрубить», поскольку какой-то Жуков лично приказал накормить командиров, чтобы не померзли в пути.

— Что за Жуков? — спросил Космачев, уже готовый вспылить.

— Жуков?! — с искренним изумлением повторил Степанов. — Жуков — наш начальник. Главный старшина всех хозяйственников...

Мы переглянулись и невольно рассмеялись. Заметив, что приказ начальника надо выполнять, Космачев пригласил всех к столу.

«Степанов, конечно, не развязен, а просто не обучен,— думал я. — Очевидно, порядки на батарее таковы, что военный язык не очень-то в ходу. А может, у



него особый характер, потому и определили в хозяйственный взвод, поскольку возле орудий многоречивость и тугодумие нетерпимы?»

На батарею мы прибыли глубокой ночью, основательно заочнев, несмотря на овчинные тулупы, которыми нас снабдили ездовые. Начало ноября, а уже нагрнул мороз. Ясное, усыпанное звездами небо и полная луна создавали ощущение, что мы пересекаем безжизненную пустыню. Знаменитый Мишка тянул по снежной целине, как по наезженной дороге. Но до самой границы полуостровов он явно не торопился.

Граница обозначена черно-синим хребтом гранитных сопок. Это Муста-Тунтури — горы, ставшие потом линией сухопутного фронта. У этой границы мы повернули направо, к берегу Маттивоуно. Только тогда Мишка побежал резвее, чуя конюшни, расположенные в тылу батареи. Отсюда до цели нашего путешествия еще примерно шесть километров. А вот и городок — несколько потонувших в снегу приземистых строений. Утром я разглядел, что их не наберется и десяти, включая недостроенную пекарню между столовой и баней и большую зимнюю палатку, разбитую в кустах для стрелкового взвода, приданного батарее.

Роднянский сразу утащил меня к себе, в каморку при домике радиостанции. Мы проговорили с ним до утра, лежа вдвоем на одной койке, — вторую негде было поставить. Эта койка надолго стала нашим общим пристанищем. Жили батарейцы тесно. Жен и детей, которых привозили сюда командиры и некоторые сверхсрочники, размещали даже в столовой: на этой каменистой земле многого не построишь. Так началась моя долгая служба на Рыбачьем.

Роднянский рассказывал невеселые вещи. Оказывается, и тут нашелся свой Користов, которого сломала трудная жизнь на семидесятой параллели. Это бывший командир батареи Фазанов. Я увидел Фазанова утром и поначалу принял его за техника с артиллерийского завода. Он ходил в полуштатском, знаков различия не носил и явно добивался снятия с должности любой ценой. Поняв, что, чем раньше такой человек уберется из воинской части, тем лучше для всех, Космачев пренебрег даже формальной приемкой дел и в то же утро отправил Фазанова на пароход. Весь день мы ходили за политруком Бекетовым, осматривая батарею и знакомясь с людьми. На следующее утро предстояло уже браться за дело.

Я еще не знал точно, что за человек Космачев и каково будет с ним работать. Но сразу почувствовал, что он совсем не такой, каким казался на батарее Користова. Космачев менялся на глазах — самостоятельность действовала на него очень благотворно. Прежде угрюмый и неразговорчивый, он стал общительным, деятельным. За день облазил все позиции, оценил их как человек, которому за все быть в ответе, переговорил со многими бойцами. Он то шутил, то мрачнел, натываясь на фазановское наследство. Заставил сигнальщиков подробно рассказать о побережье и позициях соседа. Обшарил все сам в

стереотрубу. Словом, сразу же показал себя энергичным командиром, который умеет навести порядок.

В случае войны батарея должна защитить побережье от десанта и заблокировать незамерзающий порт Лиина-хамари. Порт отлично просматривался с наших наблюдательных пунктов в оптические приборы, а в хорошую погоду — даже невооруженным глазом. Но позиции были выбраны неудачно, слишком близко к морю, на виду у наблюдателей возможного противника. И орудия поставлены слишком близко друг к другу. Бекетов объяснил нам, что это сделали, чтобы повысить дальнобойность батареи. Орудия едва доставали до главных фарватеров сопредельной державы. Строя батарею, тут выгадывали каждый кабельтов, подтягивая позиции ближе к будущей цели, к самой кромке залива. Космачев рассердился: кабельтовы выгадали, а в живучести батареи прогадали, очень велика опасность разгрома. Изменить что-либо не в наших силах. Значит, очень важно для нас добиваться повышенной готовности.

— Главное — успеть вовремя зарядить пушки и открыть огонь до того, как нас накроют, — с горькой иронией заключил командир, подводя итог первому осмотру этой пограничной батареи.

В тот день мы не раз слышали: «Пограничная батарея». А вот есть ли у батарейцев ощущение границы, чувствуют ли они себя, как пограничники, всегда на фронте? В этом предстояло немедленно разобраться.

Отношения с Роднянским определились в открытую, с первой минуты встречи. Космачев сказал, что будет к нам приглядываться и сам решит, кому кем быть. Роднянский пусть пока занимается огневым взводом, а Поночевный — временно всем тем, что положено помощнику, — взводом управления, хозяйственниками и прочим.

Зяма несказанно обрадовался. Помощник командира батареи вроде старпома на корабле. Должность строгая и жесткая. Роднянский отличный артиллерист, но мягок по характеру и не любит возни с дисциплинарным уставом. Так и остались мы с ним до самой войны «временными» и на равных правах. А пока мне предстояло действовать, зарабатывая неприятную репутацию «новой метлы».

На второй день после приезда я с утра отправился к дальномерщикам. За ночь все подходы к огромному и великолепному оптическому прибору, без которого слепа артиллерия, занесло снегом. По пояс в снегу с трудом пробрался на дальномерный дворик и никого там не нашел. «Пойду в землянку, — решил я. — Очевидно, идут занятия — по расписанию первый урок».

Из землянки доносился смех, кто-то забавлял слушателей анекдотами. Моего прихода не ждали. Командир отделения дальномерщиков вскочил, чтобы отдать рапорт, запутался и умолк. Я только успел уловить, что фамилия его Пивоваров

и по расписанию отделение должно изучать материальную часть дальномера. Это «должно» и запутало его, врать он, видно, не привык. Бойкий, насмешливый голос дополнил Пивоварова:

— Повторяем пройденное.

— Фамилия?

— Куколев, краснофлотец, дальномерщик.

Ясно. Парень из тех, кто способен довести новичка до слез. Одергивать балагура нет смысла. Надо сохранять спокойствие. Я потребовал план занятий. Ну если не занятий, то хотя бы конспект анекдотов и веселых историй, рассказанных до моего прихода...

Куколев, подхватив мой шуточный тон, заявил, что план тут у всех один: чистить снег.

— Могу работать дворником, натренировался!

По землянке прокатился смешок

Подождав, я вынул секундомер и сказал:

— Сейчас девять часов тридцать две минуты. Полтора часа вы на боевом посту. Снег не убран. Работать с дальномером практически нельзя. За такое даже дворников по голове не погладят. А вы бойцы... Дальномерному посту боевая тревога! — И запустил секундомер.

Это была моя первая речь на батарее. Назидание, не подкрепленное решительным действием, могло кончиться плачевно. Волнуясь, смотрел я на бегущую секундную стрелку, но решил быть твердым до конца.

Пивоваров скомандовал: «К бою». Дальномерщики выбежали из землянки.

Началась расчистка позиции. Полетели в сторону полушубки, шапки, стало жарко. А секундомер отсчитывал минуту за минутой.

У выхода из командного пункта батареи собрались сигнальщики — «матросское радио» донесло уже и до них весть, что «новая метла» пришла наводить порядок у соседей.

Старшина сигнальщиков Иван Федорович Афонин, мужчина плотный, широкоплечий, похожий на медведя, подливает масла в огонь. Переступая с ноги на ногу, он произносит медленно, но громко и с предельным презрением:

— Соседа ждали, думали подмогнем...

— Молчи, старшина, и до вас доберутся, — огрызается все тот же Куколев, но работает он остервенело.

Время, положенное для изготовления дальномера к бою, прошло, а снег не убран. Даю, как и полагается на учении, вводную задачу:

— Пеленг двести семьдесят пять градусов, дальность восемьдесят кабельтовых, курсом на батарею идут десантные корабли противника!

Пивоваров смотрит на меня в недоумении: снег-то, мол, еще не расчищен, куда торопишь, командир?..

— Действуйте, командир отделения. Командир батареи требует от вас дальность до цели, курс, скорость противника. Батарея давно изготовилась к бою.

Пивоваров схватил лопату и в бешенстве стал разбрасывать снег, расчищая сектор работы дальномера, — чтобы вращать эту шестиметровую горизонтальную трубу, нужен простор, а там сугробы.

Это заняло еще минут двадцать.

Куколев сорвал с дальномера чехол и мрачно, пряча глаза, доложил о готовности к действию. Нет, милый балагур, скидок не будет.

— Не выйдет, товарищ Пивоваров, — обращаюсь я к командиру отделения. — Где выверка дальномера?

Куколев, тихо чертыхаясь, стал готовить дальномер к работе как положено. Значит, знают, как надо действовать, но решили «сократить программу». Даю следующую «вводную»:

— Корабли противника открыли огонь по батарее. Тяжело ранен краснофлотец Куколев.

Куколев метнул на меня свирепый взгляд. Пивоваров поспешил:

— Оказываем помощь Куколеву.

— Не надо рассказывать. Надо действовать практически.

Пивоваров знает, что надо действовать практически. Но на боевом посту нет санитарной сумки.

А я не щажу, не принимаю условной помощи Куколеву и не даю возможности сбегать за санитарной сумкой. Я настаиваю:



— Командир батареи требует дальности до цели!

Куколев, пытаясь выручить командира отделения, бросился к дальномеру. Пришлось его остановить:

— Товарищ Куколев, вы без сознания. Кто заменит Куколева?

— Разин, — неуверенно отвечает Пивоваров.

Краснофлотец Разин спешит признаться сразу:

— Не умею. Еще не обучили.

А секундомер отсчитывает время. И я вынужден огорчить несчастных дальномерщиков: пока они возились, корабли противника уже подошли к берегу, высадили морской десант и слева к дальномеру движутся автоматчики врага.

Пивоваров командует:

— Открыть огонь по пехоте!

Но пехота уже в тылу. Надо занимать оборону командного пункта с тыла. Растерянные дальномерщики во весь рост двинулись за своим отделенным к командному пункту. Нет, нельзя идти во весь рост — автоматчики ведут огонь.

— Ложись! — слышится команда Пивоварова.

Уже собралось много зрителей. Подошли мотористы, телефонисты, бойцы огневого взвода. Я слышу за спиной шепот:

— Издевательство.

— Правильно дает, — вступает за меня другой болельщик.

— Нет, это издевательство, — настаивает первый.

А дальномерщики ползут. Я вижу, что Куколев все время растирает пальцы — он забыл в землянке перчатки. Даю учению отбой.

— Вечером проведете разбор учения с отделением, — говорю Пивоварову. — Присутствовать будет весь взвод управления. Советую оценить свои действия критично и правдиво. Зайдите после обеда, помогу подготовиться к разбору.

На командном пункте старшина сигнальщиков Афонин встречает меня широкой улыбкой. Я так взвинчен происшедшим, что мне и в его улыбке чудится ехидство. Ни за что ни про что набрасываюсь на Афонина:

— Слышали, что сказал вам Куколев? Доберусь и до вас!

— А у нас порядок, товарищ лейтенант,— спокойно отвечает Афонин. — Учеба идет, служба несется бдительно.

Устраиваю проверку и со стыдом убеждаюсь, что погорячился. Афонин — старый флотский сигнальщик, дело свое любит и знает. Порядок на посту настоящий, берег сопредельной державы изучен хорошо. Миша Трегубов, худой и длинный парень, краснеющий по любому поводу, подробно рассказывает, где и когда проходят на том берегу солдаты, на каких островах боевой объект замаскирован под монастырь, каким фарватером следуют финские и немецкие транспорты в порт. Он только путает мудреные финские названия, переиначивая их на свой лад. Ниemi — по-фински мыс. Против нас находятся два мыса: Христаниеми и Нуураниеми. Трегубов произносит: «Христя не ела и Ньюра не ела». Я уже готов вспыхнуть, что-то сказать по поводу неуместных шуток, но Афонин, бледнея, шипит на своего подчиненного:

— Опять вам дались эти голодные Христя с Ньюрой! Придется вас наказать, Трегубов!

Сдерживаю Афонина: не следует при старшем командире воспитывать подчиненных.

Итак, я «новая метла». Начало тревожное, тяжелое. Как еще все обернется? Весь день хожу сам не свой. Неужели прав тот, кто шептал: «Издевательство»? Может быть, я переборщил? Я вспомнил, как на занятии по тактике Користов заставил меня ползать по-пластунски. Он прибыл внезапно, в момент, когда командиры отделений, получив задачу, ползком устремились к цели. С возвышенного места я наблюдал за действиями краснофлотцев.

— А вы почему не ползаете! — закричал на меня Користов. — Почему не маскируетесь. Всему личному составу из-за вас поставлю неуд! — Не желая ничего слышать, он скомандовал: — Вперед, по-пластунски, марш.

И мне пришлось ползти. Неужели и я сейчас действовал, как Користов? Нет, там было другое. Ползать я умел, этому в училище нас научили хорошо. Но в интересах дела, чтобы правильно оценить действия каждого бойца, должен был оставаться на месте. А здесь расхлябанность. Случись бой, такая неповоротливость с тоила бы всем жизни. Да, я действовал круто. Но как иначе вытравить пресловутый фазановский дух?

Вечером в помещение, где происходил разбор, набилось много народу. Пришли не только дальномерщики, связисты и сигнальщики, пришли и бойцы из орудийных расчетов. Уж они-то в первую очередь заинтересованы в четкой работе глаз батареи.

Пивоварова это смутило. Такое количество слушателей не входило в его расчеты. Он стал что-то бормотать, оправдываться: зима, мол, трудная, метели каждый день, да и «вводные» не совсем правдоподобны. Больше всех шумели двое — моторист Смирнов и его дружок из огневого взвода Ивашев. По всему видно, местные бузотеры. Оба сидели развалясь, в расхлюстанной, неопрятной одежде. Смирнов из угла землянки все время подзуживал:

— Издевательство, что мы не люди?

Мне не пришлось его одергивать. Это сделали краснофлотцы из орудийных расчетов, те, кто во время боя с нетерпением ждут от дальномерщиков точных данных для наводки орудий на цель. Гневно обрушились на разгильдяев два друга — наводчики Корчагин и Шалагин. Они буквально засыпали Пивоварова и его подчиненных коварными уличающими вопросами. И в конце концов прижали коренным, главным, к чему сводилась вся цель и суть учения: будет ли действительный противник ждать, пока дальномерщики надумают расчистить снег и подготовить батарею данные?!

Очевидно, у Роднянского на орудиях подобран хороший народ, он поддержит самые крутые меры против расхлябанности.

Постепенно я знакомился с людьми. Вначале все были на одно лицо. Но с каждым днем я узнавал не только фамилии, но и характеры, привычки, возможности каждого. Пивоваров оказался неплохим командиром отделения, только слишком медлительным и самолюбивым. Трегубов, командир отделения сигнальщиков, был, наоборот, тороплив, хотя дело свое знал хорошо. У моториста Смирнова — манера подзуживать и прятаться за чужой спиной. С Ивашевым пришлось беседовать Космачеву. Ивашев служит третий год, но с командирами разговаривает еще более развязно, чем ездые, которые встретили нас в Западном Озерке. Кажется, он меняется к лучшему, особенно после бурного комсомольского собрания, проведенного на батарею вскоре после разбора учения дальномерщиков. Важно отколоть его от Смирнова, оградить от дурного влияния,

Немало возни было и с людьми из хозяйственной службы, жившими несколько на отшибе от батареи. «Знаменитый Жуков», о котором мы уже слышали от ездых, был действительно хорошим и запасливым старшиной хозяйственной службы, но вольница у него развелась похлеще, чем у других.

— Привет, старшина! — таким возгласом встретил нас с Жуковым в батареинной пекарне шупленький нагловатый паренек.

Жуков, стоя за моей спиной, явно подавал ему какие-то знаки, но тот не обращал на них никакого внимания. Я спросил, кто он такой. Паренек нагло ответил:

— Я? Я пешка. А вы кто?

И дальше все в таком же духе. Это был краснофлотец Захаров, пекарь. Много труда стоило заставить его доложить, как положено по уставу. Он ломался, капризничал, вел себя, как избалованный тенор, считая, что кормит всю батарею хлебом и потому никакие уставы ему ни о чем. В училище мы привыкли к отличной воинской дисциплине. Она держалась не столько на наказаниях и гауптвахте, сколько на требовательности самой курсантской среды. Пекаря Захарова проще было бы наказать, да и полагалось наказать за такое поведение. Но мне не хотелось начинать с этого. И кроме того, я понимал, что дело не в одном Захарове или Ивашеве. Стиль на батарее такой, дух такой, таким был прежний командир. А вот судя по орудийным расчетам, которые так хорошо подчиняются мягкохарактерному Роднянскому, дух этот батарейцам не по душе. На разборе артиллеристы дали жару дальномерщикам. Значит, и впредь нужно вытаскивать таких, как Захаров, на суд всей батареи.

Комсомольское собрание поставило перед некоторыми из краснофлотцев ультиматум: или они исправятся, или комсомольцы попросят командование убрать их с пограничной батареи. Угроза оказалась действенной. Ивашев ни за что не хотел уходить с границы, он обещал собранию измениться. А пекаря Захарова предложили перевести с хлебной должности на более трудную.

— Дайте его мне на выучку. Пусть потаскает железные болванки, — под общий смех предложил командир отделения подачи младший сержант Иван Морозов, могучего телосложения мордвин.

Командир батареи тут же приказал перевести пекаря в артиллеристы. Будущее покажет, что он за человек.

Итак, пограничная батарея должна стать пограничной не на словах, а на деле. Не по географическому положению, а по боевой готовности, по духу. Но вскоре мы почувствовали, что для этого недостает одного: практических стрельб. Когда человек долго держит в руках оружие, ни разу его не испробовав даже на учении, он уже не столь остро чувствует силу этого оружия. Нашей батарее стрелять не разрешено: она находится на границе и может вести огонь только в случае войны.

— Пушки будем охранять, что ли? — ворчат матросы, измученные войной со снегом.

Космачев добился разрешения тренировать батарейцев на другой, удаленной от границы батарее. Это было для всех праздником. На стрельбы решили посылать



лучшие орудийные расчеты и лучших управленцев. Началась борьба за право участвовать в стрельбах. Она пришлась на самую трудную пору нашего предвоенного года — на угрюмую полярную ночь, лишаящую жителей полуострова даже тех скромных радостей, которые им дает весной и летом небогатая природа Севера.

Для меня полярная ночь стала мучительным испытанием. Хотелось спать, спать вечно. Часто я просыпался испуганный: не прозевал ли поверку постов? Мучился так около месяца, пока не привык чувствовать время. Тяжко было ориентироваться во тьме. Однажды мы с Космачевым, проверяя готовность зенитной батареи Пушного, задержались допоздна и возвращались в пургу. До городка от зенитчиков шесть километров. Мы заблудились в самом городке и несколько часов бродили между землянками, пока не наткнулись на вход в одну из них. После этого случая и надумали протянуть между землянками леера — все-таки ориентир.

А весной едва не случилось нашей пограничной батарее открыть огонь по нарушителям морских рубежей.

Произошло это уже в мае, когда Космачева на батарее не было, а я оставался за него. Сигнальщик Михаил Трегубов взволнованно доложил:

— Товарищ лейтенант, буксир прет в наши воды! Сообщение столь ошеломляющее, что я даже не поправил вольный язык доклада сигнальщика.

Мы уже знали этот буксир. На самом деле — это замаскированный фашистский тральщик. Он часто нарушал границу и заходил в наши воды, правда, недалеко, так, чтобы успеть вовремя удрать. Граница проходила в 30 кабельтовых от побережья. Понятно, что, даже следуя вдоль самой границы и не нарушая ее, корабли сопредельной державы могли изучать характер нашей обороны. А тут вдруг сунулись прямо в наши воды.

Подняв батарею сигналом боевой тревоги, я немедленно доложил оперативному дежурному штаба МУРа в Полярный о нарушении границы.

Спустя несколько минут на батарею позвонил командующий Северным флотом вице-адмирал А. Г. Головкин и приказал доложить обстановку.

— Батарея к бою готова. Прошу разрешения открыть огонь по нарушителю границы! — выпалил я.

Командующий выразил удовлетворение нашей боевой готовностью, но стрелять не разрешил. Расспросив меня о состоянии моря, видимости и облачности, он приказал поугатать нарушителя пулеметным огнем.

Но было уже поздно. Услышав сигналы боевой готовности и заметив беготню матросов на батарее, буксир быстро повернул из наших вод и скрылся за финскими островами. Провокация сорвалась.

## ПЕРВЫЙ ЗАЛП

Начало войны — такой рубеж в жизни моего поколения, что каждый из нас запомнил первый ее день, наверное, до мельчайших подробностей. Есть много схожего для всех в этом внезапном потрясении. Но у каждого военного человека — своя память.

На Севере воскресный день был условным днем отдыха для нас, холостяков. Уволиться некуда. Единственное развлечение — побродить среди холодных озер по тундре, погоняться в камнях за куропатками. Рядом, на финских островах, птичьи базары. Но туда нельзя, даже шляпкой запрещено воспользоваться — режим строгий, граница.

В субботний вечер начинаешь уже ощущать резкую грань между тобой и так называемыми «женатиками». Их у нас немало, особенно с весны. Зимой, в полярную ночь, многие женатые жили холостяками, семьи оставались в Полярном и Мурманске. А весной понаехали жены с детьми. Семейные сразу после субботнего киносеанса расползаются по своим гнездам. А на следующий день они уже «вне нас», они с ребятишками, женами идут на берег моря, как на городской проспект, или уходят по ягоды в тундру. Наша доля в такие дни — дежурство или полнейшая самодеятельность: вволю вспомянай, вволю мечтай, вволю вздыхай... Космачев привез весной семью — жену и двоих детей. Замполит Бекетов вернулся из Мурманска с женой, он и старшина Жуков женаты на сестрах. Старшина Зубов привез сюда жену из Горького, она ждет ребенка. Зубов, конечно, уверен, что будет сын. Старшина Краснопольский — только что женился. Сверхсрочник Волошин женат на красавице украинке. В Галю Волошину мы, холостяки, влюбляемся по очереди или все разом. Волошины живут в домике радиостанции, где я все еще обитаю у Роднянского. В долгую полярную ночь мы с другом не отходили от Гали ни на шаг. Старшина посмеивался, он не ревнив, а наш третий холостяк, младший лейтенант Георгий Годиев, осуждал нас. Он горец и утверждает, что на Кавказе за взгляды на чужих жен полагается «башка долой».

С Галей я охотно готовился к вечеру художественной самодеятельности, намеченному на конец июля. Мы будем исполнять шуточную украинскую песню «Куда едешь, Евтуше». Женщины смастерили для нас украинские костюмы. От них веет родным селом и щемит сердце. Есть у меня подружка Надя, учительница в Стайках, с такими же, как у Гали Волошиной, жгучими черными глазами и бровями. Встречались мы недолго, в редкие недели отпуска из училища. В сороковом году дома я не успел побывать, прямо из Севастополя поехал в Заполярье. Мать на письма не очень щедра, отец и подавно. Он работает на землечерпалке на реке Сож, где-то повыше Кричева. Так что вести о

родных я получаю только от Нади, но письма идут долго, а пишет она редко. Я репетировал с Галей Волошиной нашу шуточную песню, по ходу которой нам надо целоваться, и рассказывал ей о Наде. Галя сказала, что осенью мне обязательно надо выбраться в отпуск, жениться и привезти Надю на полуострова: детишки у всех подрастают, а учить их некому, вот и будет у нас своя учительница на следующую полярную ночь, ночь на сорок второй год. А так, только письмами, нельзя жить, за годы все сотрется. У Роднянского на Большой земле никого, кроме родителей, нет. Но и в Полярный он не очень-то рвется, хотя завелась у него там знакомая. А наш горец Георгий Годиёв, командир прожекторного взвода, безнадежный лирик, ночами ведет долгие телефонные разговоры с какой-то Улькой из Полярного. Я уже получил нагоняй за то, что разрешаю подобные переговоры по служебному проводу. Но с Годиёвым мы друзья. Часто выслушиваю его признания и, как помощник командира батареи, беру на себя еще роль утешителя. Подружились мы зимой, когда мне пришлось разыскивать его в тундре. Георгия послали в Титовку за трактором для батареи, началась пурга, и он заблудился. Лыжником я никогда не был. Впервые встал на лыжи на батарее Артемова. Той практики оказалось мало, чтобы не отстать от нашего лучшего лыжника радиста Прокофьева, с которым мы отправились на поиски. Прокофьеву пришлось повозиться со мной: боялся, что пропаду и замерзну. Мы нашли Годиёва и его трактор в сугробах над обрывом пропасти. Георгий почему-то решил, что спас его именно я, и с горской щедростью дарил меня своей дружбой.

В ту ночь кануна войны мы бродили с Годиёвым по окрестностям в поисках куропаток. Вечером у нас показывали фильм «Три подруги», потом все поиграли в волейбол, и ряды наши стали быстро таять. Долгими взглядами мы провожали жен товарищей, и все они казались нам прекрасными; королевой того вечера в канун войны была уже не Галя Волошина, а жена командира зенитчиков лейтенанта Пушного. Дежурный по батарее подал команду приготовиться ко сну. Было совсем светло, солнце остановилось над кромкой моря, и мы, взяв малокалиберные винтовки, ушли на охоту. Так и встретили день 22 июня, грустные, совсем не чувствующие усталости и желания уснуть. Мы набродились по росистым травам и до утра просидели на мягком торфянике среди камней возле залива. Годиёв с восточной красочностью расписывал прелести своей таинственной Ульки, которую решил в наиболее теплую пору — в августе — привезти на Рыбачий, носить на руках по полуостровам и кормить шашлыком из куропаток...

Внезапно до нас донесся настойчивый и неожиданный звон колокола, гулко повторяемый гранитными скалами. Побежали на батарею. К командному пункту, к орудийным позициям со всех сторон мчались люди. Космачев уже был на КП. Он дозванивался в Полярный, но линия все время занята. Прибежал и Петр Иванович Бекетов. Из Полярного только что поступил сигнал боевой тревоги. Боевая тревога всему Северному флоту. Обстановка неизвестна.

Телефонист прорвался наконец к оперативному дежурному укрепленного района. Космачев доложил, что батарея приведена в боевую готовность № 1. На вопрос об обстановке услышал лаконичный ответ: ждите. Оперативный и сам не знал, в чем дело. Возможно, учение, но учение было совсем недавно, к нам приезжал член Военного совета флота дивизионный комиссар Николаев и, как принято говорить в нашей среде, «остался доволен положением дел на батарее».

Все были по-настоящему встревожены.

— Война, — произнес кто-то.

То ли по телефону обронули это слово, то ли радисты случайно услышали голос какой-нибудь радиостанции. Но это слово покатилося по боевым постам и раздалось на КП.

— Ерунда! — возмутился Бекетов. — Кто разносит подобную чушь по батарее?..

Но мы не успели выяснить «кто»: по радио передали правительственное сообщение о войне.

В апреле, когда кончились изнуряющие мартовские метели- и на карликовой северной вербе распушились почки, готовность нашей батареи, и особенно командного состава, тщательно проверял комбриг Петров, комендант укрепленного района. Он прибыл из Полярного с целой свитой. Поначалу все шло хорошо. Потом его разгневала медлительность Роднянского при разборке стреляющего приспособления. Комбриг рассердился и на КП, где я дежурил, прибыл не в духе. Меня он спросил о силуэтах боевых кораблей вероятного противника. Знал я об этом мало и, конечно, был виноват, но в душе себя оправдывал: «А кто он, этот вероятный противник? Весь буржуазный мир?!» Чувствуя наше замешательство, в разговор тихо и спокойно вступил капитан 2 ранга Туз \*, офицер разведотдела, приехавший вместе с комендантом укрепленного района:

— А с кем предстоит воевать? Мы растерянно молчали.

— С немцами. Это уж обязательно. Знаю, что договор, знаю, но — вот так. А корабли сопредельных государств надо хорошо изучить...

Я вспомнил сейчас эти слова. Вот оно и свершилось. Войну начали фашисты, другого нельзя было ждать. Туз уже давно снабдил нас таблицами силуэтов вражеских кораблей. Но пока что мы видели только германские транспорты, следующие в порт Петсамо — Лиинахамари, и назойливый фашистский тральщик, маскирующийся под буксир и вечно лезущий в наши воды.



Война. Что мы знали о ней? Из книг и картин — почти ничего. Только то, что на войне надо совершать героические поступки. Мы все хотели быть героями. Но как воевать, как обернется война, какие нас ждут испытания — все это знали условно и приблизительно. Мы не изучали даже опыта войны с белофиннами. Тут, на Рыбачьем, войны почти не было. Старожилы рассказывали, что до конца войны с белофиннами в тылу нашего фронта, на полуостровах, жил старый финн со стадом оленей. Он приходил прошлой весной на батарею и только от матросов узнал, что война кончилась, — тогда он угнал свое стадо через хребет Муста-Тунтури в Финляндию. Мы думали, что война как Халхин-Гол или Хасан: быстро и на их земле. Да и об этих конфликтах мы судили понаслышке. Настоящий боевой опыт изучали поверхностно. И вот война у нас. Война повсюду.

Радист доставил наконец радиограмму, и Космачев приказал быстро ее декодировать. Меня не надо было торопить. Тут же я декодировал и продиктовал писарю в журнал боевых действий первый приказ командующего флотом адмирала Головки:

«Всё входящее и выходящее из Петсамо — уничтожать».

\* Д. А. Туз — впоследствии адмирал, один из руководителей боевых действий на полуостровах. (Прим. ред.)

А в разгаре долгожданная северная весна. Распустилась березка. Зеленым ковром от КП до самого моря раскинулась равнина. На ней блестят зеркала озер, только что сбросивших лед. На озерах плавают дикие утки. Их пока никто не тревожит. Вокруг тихо и спокойно. Даже не верится, что где-то идет война.

На вахте командир отделения Трегубов. В стерео-трубу он наблюдает за морем и соседним берегом — теперь берегом противника.

Бекетов спрашивает Космачева, где и как готовить митинг.

— На огневой! — коротко бросает Космачев.

— Над Нууриями дым! — взволнованно докладывает Трегубов и тихо про себя добавляет, что, наверное, опять вылезет тральщик.

Через короткое мгновение из залива действительно выходит немецкий тральщик. Тот, из-за которого батарея не раз поднималась по боевой тревоге, но не трогала его в силу каких-то особых дипломатических причин.

— К бою! — громко командует Космачев, и никому не надо объяснять, что это уже не учебная, а настоящая команда.

Быстро готовлю данные стрельбы, ввожу поправки. Команда «Залп!», и раздается первый в Заполярье и на Северном флоте залп, поднимающий в небо встревоженных чаек.

Напряженно ждем падения снарядов. Они поднимают огромные водяные столбы возле тральщика. Космачев тотчас вносит поправку и переходит на поражение.

Тральщик метался из стороны в сторону, но это его не спасло. Шапка черного дыма поднялась над ним, он потерял ход и начал тонуть. После попадания фашистский тральщик был на плаву всего минуту.

— Дробь! — подал Космачев традиционную флотскую команду прекращения огня, и эта команда эхом отдалась на всех боевых постах.

Но орудийные расчеты остались на месте как прикованные. Всех ошеломила первая в жизни боевая стрельба. Роднянский мне потом рассказывал, что первое слово, произнесенное командиром орудия Покатаевым, было «разговелись».

— Ну что же, кажется, нормально отстрелялись? — сказал Космачев, обращаясь к тем, кто был в ту минуту на командном пункте.

Трегубов, больше других ненавидевший назойливый немецкий тральщик, улыбнулся и выпалил:

— Добегался, гад. Давно бы так!

Космачев метнул на сигнальщика суровой взгляд — не время для балагурства — и приказал вызвать на линию командиров всех боевых постов. Когда телефонист доложил об исполнении, командир батареи медленно и торжественно произнес в телефон:

— Внимание! За потопленный тральщик противника всему личному составу объявляю благодарность!

С орудийной позиции откликнулся Бекетов — во время боя он был там. Бекетов спрашивает:

— Когда проведем митинг?

— Подожди. Думаю, противник ответит на наши действия. Снимать людей с боевых постов пока нельзя.

Наши залпы подняли птичьи базары с ближних островов. Над морем черной тучей повисли стаи птиц. Что-то тревожное в этом. Орудия уже смолкли, а птичий крик не умолкает. Мы ждем кораблей противника, самолетов, чего-то

нового, неведомого. Мы знаем, что там, на земле маннергеймовской Финляндии, собраны ударные фашистские силы, мы читали тревожные предупреждения ТАСС о германских транспортах, доставляющих фашистские войска в эту страну, сами видели эти транспорты. И ждем удара. Но пока тихо вокруг.

Комбриг поздравил нас с первой на флоте победой, можно отойти от орудий и проводить митинг.

Бурно проходит митинг. Космачев читает радиограмму командующего флотом и члена Военного совета. Нас поздравляют с первым успехом. Только успех этот слишком быстрый и легкий. Никто не знает, какие трудности ждут нас впереди, но все взволнованы. Противник не оказал сопротивления, а где-то, как сообщило радио, падают бомбы на наши города...

После митинга спрашиваю командира орудия Покатаева, как вели себя в первом бою Ивашев и Захаров. Покатаев говорит, что Ивашев работал неплохо, а вот Захаров трусит. Он побледнел, осунулся, боится наших же выстрелов и не спешит с подноской снарядов. Роднянский приказывает командиру отделения подачи Морозову как следует потренировать Захарова.

Возле домика, где живет Космачев, собрались притихшие семьи батарейцев. Сквозь просеку кустарника видны и море и огневая позиция. Женщинам никто не сказал, что случилось, но они видели, как батарея потопила тральщик, и все поняли.

Так прошел первый день войны.

23 июня батарея не вела боевых действий. А 24-го получили приказ эвакуировать в тыл семьи. В Западное Озерко специально прислан транспорт.

Годиев отвечает за эвакуацию. Он подготовил автомашину и носится теперь из квартиры в квартиру, торопит. Уезжают сестры — жены Бекетова и Жукова, они намерены дождаться конца войны в Мурманске. Уезжает в Горький жена старшины Зубова, видно, не суждено их ребенку родиться на полуостровах. Не суждено и нам с Галей Волошиной спеть шуточную песню «Куда едешь, Евтуше». Трехлетняя Галочка обнимает Космачева, не может оторваться от отца; уцепился за его штанину и шестилетний Витька. Женщины суровы и молчаливы. В этот миг забываю, что холостой. И у меня щемит сердце. Уходят жены товарищей, уходит мирная жизнь. А я ничего не знаю о своих родных. Правда, они далеко, в тылу, под Киевом. Но и Киев уже бомбили фашисты. На фронте я не испытал того, что они испытали там, в тылу.

Что впереди? Нам кажется, мы хорошо подготовлены и защищены с воздуха: шутка ли — нас прикрывает 45-миллиметровая зенитная батарея и счетверенный пулемет! Мы не знали, как это мало для настоящего боя.

Слишком легко далась первая победа, и от этого тревожно на душе. На большой высоте над нами летят вражеские самолеты в наш тыл. Война пока обходит нас стороной.

## ГОРЬКИЙ УРОК

Это случилось 28 июня, в субботу. Шел седьмой день войны. Тихое теплое утро, безоблачное небо, зеркальное море. До КП доносится вальс «12 часов ночи», наверное, комсорг Рыбаков крутит в своей землянке патефон. На кухне и в бане кочегары расшуровали печки — в синее небо поднимаются столбы дыма. Тут тоже наша беспечность или неопытность — не подумали о маскировке. Бездействие начинает надоедать: ни учебы, как в мирное время, ни боев, как должно быть, по нашим представлениям, на войне. Находимся на грани чего-то неизвестного. Только и отличия от мирного времени, что дежури́м на боевых постах да носим личное оружие и противогазы. Часть батарейцев занята подвозом боеприпаса.

А с границы день и ночь доносится шум боя. 26 июня Финляндия объявила Советскому Союзу войну, и первый удар приняли на себя пограничники. Краснофлотцы просятся на фронт. Только и слышишь: «Кому нужно это Петсамо, сюда ни один корабль не сунется», «Так и просидим всю войну», «Не выдержу, убегу на фронт»...

Иван Морозов, командир подачи, которому буквально силу девать некуда, встречая меня, твердит:

— Земля горит, а мы тут баньки разводим.

Морозов прав. Сидеть без боя тошно. Радио приносит вести тревожные и странные. Фашисты наступают, они продвигаются, и довольно быстро. Можно найти полезную работу — строить оборону батареи, землянки, убежища, готовиться к встрече самолетов, готовиться, наконец, к зиме. Ведь зима военная будет во сто крат труднее зимы минувшей. Самое в конце концов главное — смотреть на войну глазами военного человека, все время о ней думать, подчинять ей все действия. А мы ждали, сами не зная чего. Возможно, потому, что война нам казалась событием, коротким по времени. Не перестроили на боевой лад в первые же дни жизнь и учебу. Плохо учили нас этому, далеки мы были от военной действительности. Готовились отвлеченно, не беря в расчет силу противника, его возможности, его реальные ресурсы. Что такое бомба? Каков результат ее действия? Что надо предпринять, чтобы сохранить людей, технику, боевую способность батареи? Военный человек обязан всегда, во все времена знать, что обучать личный состав в отрыве от боевой действительности преступно.



Командующий флотом предупреждал, что батарею собираются бомбить самолеты противника. Но мы восприняли это просто как предупреждение. Большинство краснофлотцев по-прежнему жили в казарме. Землянки возле орудий не укреплены и не приспособлены для жилья. Да и нельзя сосредоточивать бойцов рядом с объектом бомбового удара. В этом мы убедились на горьком опыте событий 28 июня.

В то утро из Полярного позвонил оперативный укрепленного района и предупредил, что наша авиация будет бомбить Петсамо. Космачева и Бекетова на КП не было, один куда-то ушел, другой уехал за снарядами. Я дежурил на командном пункте. Старшина сигнальщиков Афонин бурно выразил общую радость: хоть посмотрим, как рвутся бомбы...

К полудню на боевых постах осталась треть батарейцев: остальные ушли кто на обед, кто в баню.

Вахтенный сигнальщик Михаил Глазков в полдень доложил, что слышит на юге шум авиационных моторов. Наверное, наши летят на Петсамо. Мы вышли из командного пункта посмотреть на бомбежку.

Над Петсамо появилась большая группа самолетов-бомбардировщиков, но какие, не различишь. Афонин удивился:

— Почему финны не открывают огня?.. Трегубов многозначительно заметил:

— У них, возможно, нет зенитных батарей...

Но самолеты, не сбросив на Петсамо бомб, шли к нам.

Из командного пункта выскочил сигнальщик Глазков и, захлебываясь, доложил:

— Тридцать шесть самолетов противника следуют курсом на батарею.

Я приказал объявить воздушную тревогу и немедленно доложить об этом оперативному укрепленного района. Афонин с удивительной для его фигуры прытью подкатился к рынде и стал отбивать сигнал воздушной тревоги.

Впервые я увидел так низко летящие германские бомбардировщики. Кресты, свастика. С ведущего самолета в небо врезалась белая ракета, и он тут же круто пошел вниз. Бомбежка с пикирования! Теперь каждый мальчишка знает, что это такое. А тогда я не понимал, в чем дело. Подавляя безотчетное волнение, смотрел, как падает самолет и как отрываются от него бомбы. Но первый взрыв, потрясший землю, вой сирен, пламя, дым, смерчи из огня, земли и вырванных с корнями кустов, сущий ад, от которого, казалось, нет спасения, — все это так ошеломило и оглушило, что я с трудом овладел собой. Надо что-то предпринимать, действовать... Земля, море, небо — все закрыто черно-рыжей

мутью. Не то что стоять на месте, дышать невозможно. Я объявил химическую тревогу, решив, что противник бросает бомбы с отравляющими веществами...

А на командном пункте надрывался Глазков, тщетно пытаюсь втолковать оперативному в Полярном, что фашисты бомбят батарею. Оперативный его не слышал и без конца переспрашивал. Бомбежек до этого не было, и мы не сразу научились с полуслова понимать друг друга.

Вслед за пикировщиками на нас обрушилась дюжина истребителей. Они носились низко, полосуюя всё и вся орудийно-пулеметным огнем. На командном пункте вместе с рамами вылетели стекла. Лицо Афонина в крови, он ранен осколками стекла. Вот-вот завалится наш командный пункт, стены и крыша ходят ходуном. При каждом взрыве распаивается дверь, приходится ее придерживать. Нет, не годен такой командный пункт для боя! Нужно, если не подземное убежище, то по крайней мере хорошо укрепленный блиндаж.

Налет продолжался почти час. Все это время я не мог покинуть КП и не знал последствий беды. Когда улетел последний вражеский самолет, побежал в городок, оставив за себя дежурным старшину Афонина.

В нескольких шагах от КП в облаке дыма и пыли столкнулся с Космачевым, он спешил на орудийные позиции. Спросил меня, почему некоторые бойцы в противогазах. Я смутился, вспомнив, что забыл дать отбой химической тревоге.

Мало что осталось после бомбежки от нашего городка. Пополам расколото здание столовой. Той половины, где раньше жили семьи, вообще не существует. Дома эти нам не нужны, все равно пора перебираться под землю. Хорошо, что выстояла баня. Возле нее двое голышей — Барканов и Ивашев. Бомбежка застала их в разгар мытья, едва успели выскочить и битый час отсиживались под серым валуном. На Ивашева невольно поглядываю с недоверием, не струсил ли... Впрочем, попробуй не струсь, если бомбежка застала тебя голышом и в мыле...

Постепенно узнаю, что произошло. Основным объектом удара были огневые позиции. На орудиях оставалась только дежурная смена, в ней потери. Сброшено столько бомб, что к орудиям невозможно подойти, все подступы в воронках. Одна бомба весом в тонну угодила в основание первого орудия, другая — в соседнюю с ним землянку. Погиб вместе с другими дежурившими краснофлотцами лучший наводчик комсомолец Корчагин. Он и Николай Шалагин — неразлучные друзья, даже дежурили всегда вместе. Я хорошо запомнил обоих с прошлого года, когда они горячо поддержали меня при разборе учения дальномерщиков. Сегодня Шалагин случайно задежался в столовой. Услышав вой пикировщиков, он помчался на позицию. Добежал до опушки кустарника, почти до орудия. Но тут наводчика завалило землей. Придя в сознание, не сразу сообразил, что стряслось. С трудом выкарабкался из-под дерна и щебенки и увидел, что находится на краю огромной воронки, где

раньше стояло его орудие. Шалагин тяжело контужен, его отнесли в наш лазарет к Попову. А повар, который кормил Шалагина, убит.

Иван Морозов вместе с Захаровым дежурил в это время у снарядного погреба. Морозов не отпускает бывшего пекаря ни на шаг от себя. Когда появились самолеты, он приказал Захарову уйти в укрытие рядом с погребом. Сам остался у выхода из траншеи наблюдать за происходящим, готовый по первому сигналу выскочить и подавать на орудия снаряды. Взрывная волна прижала Морозова к земле. Кто-то наступил на него и побежал по траншее. Морозов вскочил, в два прыжка догнал Захарова, но очередной взрыв повалил на землю обоих. Захаров дрожал, бомба вздыбила первое орудие. Вместе с бревнами, камнями и землей вверх полетели снаряды. Они шлепались рядом, но не рвались. Морозов навалился всем телом на своего подопечного:

— Лежи, дура, убьют!

Тот обмяк и как неживой пролежал на одном месте до конца налета. Увидев, что бомба попала в землянку первого орудия, Морозов бросился на помощь товарищам. Но его помощь была не нужна: на месте землянки зияла глубокая воронка, на дне ее валялась чья-то скрученная в спираль винтовка. Он побежал к орудийной позиции, скатился на дно еще дымящейся воронки и нащупал рукоятку орудийного замка. Замок открылся. Это было удивительно, потому что орудийное основание и весь дворик разворотило, а конец ствола задрался вверх. Морозов осмотрел прицельные трубы, потрогал рукой объектив, обнаружил, что нет стекол, вернулся к открытому стволу, посмотрел в канал — темно: закрыта, наверное, дульная пробка. Добравшись до конца ствола, он убедился, что так оно и есть. Раз пробка цела, то и канал не поврежден. Значит, орудие может действовать. Здесь его и нашли оставшиеся в живых товарищи и командир орудия Александр Покатаев.

Хладнокровно вели себя во время бомбежки дальномерщики, особенно мой старый знакомый Куколев и его командир Пивоваров. Возле дальномера была расположена позиция зенитного пулемета. Все бомбы и авиационные снаряды, не достигавшие этой цели, падали рядом с дальномерным двориком. На дальномере вспыхнул чехол. Куколев и Пивоваров под обстрелом и бомбежкой погасили пожар и спасли дальномер. Содрав полусгоревший чехол с дальномерной трубы, Куколев обнаружил на ней пробоину. Значит, нарушена герметичность. Дальномерщики тут же проверили механизм. Выбрав ориентир, они сделали во время бомбежки около двадцати замеров, вывели среднюю дальность и убедились, что она соответствует действительной. Дальномер работал. Пробоину заделали в тот же день.

Чем же занималась в это время наша зенитная защита?

Батарея Пушного завязала бой с самолетами и часть из них отвлекла на себя. Ее порядком потрепали и вынудили прекратить огонь. В строю остался только

счетверенный пулемет М-4. Пулеметчик Травчук впервые видел в действии пикирующие бомбардировщики. Никто не обучал его борьбе с ними. И все же Травчуку удалось прошить пулеметной очередью один «юнкере». Вся батарея видела, как «юнкере», дымя, потянул к своему берегу. Немцы стали бомбить и обстреливать позицию пулеметной установки. Ее командир Рапкин скомандовал: «Ложись!» Это была трусливая команда, выход из боя во время боя, и Травчук не выполнил ее. Он вел огонь до тех пор, пока его не швырнуло на землю взрывной волной. Рапкина за трусость пришлось отстранить от командования.

Плохо у нас с противовоздушной обороной. Неправильно выбраны огневые позиции. Зенитчики должны прикрывать прежде всего орудия, а не другие объекты. Эту ошибку надо срочно исправлять.

Еще один герой этого дня — вахтенный радист Макаренко, из недавнего пополнения. Артиллеристы прозвали его интеллигентом. Впрочем, так они называли всех управленцев. Макаренко, высокий стройный брюнет, с горящими глазами на бледном лице, представлялся мне человеком горячим, вспыльчивым. Но во время боя он оказался удивительно собранным, хладнокровным. Зажигательные пули подожгли радиорубку, в которой работал Макаренко. Он крикнул старшине, чтобы гасил пожар, а сам продолжал дежурить у аппарата...

Настроение подавленное. Батарея еще ничего не сделала, а уже такие потери. Сколько убитых, раненых, контуженых! Выведено из строя орудие. И это при первом воздушном налете. Что же будет, когда заговорит артиллерия противника? Батарея перед ней как на тарелочке, бери и щелкай. Как можно было выбрать такую открытую, незащищенную позицию?..

С колонной груженых снарядами автомашин во время боя вернулся Бекетов. Шофер головной машины убит. Наша подавленность тревожит Бекетова. Он и сам потрясен, но старается поднять наш дух, утешает, что на войне, мол, жертвы неизбежны. Нам от этого не легче. Слишком дорогой ценой заплатили мы за один потопленный тральщик. В строю только два орудия, а мы должны блокировать Петсамо и Лиинахамари. Даст ли противник использовать орудия? Это зависит от нас. Если будем встречать врага так, как встретили сегодня самолеты, — не даст. Батарея обязана действовать. Наши два орудия должны воевать!

Без специальных команд, без понуканий и приказов батарейцы бросились расчищать территорию от последствий бомбежки. Восстанавливают, что возможно, готовятся к бою.

Бекетов утверждает, что мы не виноваты в случившемся: первый налет. Но могут быть и потери, зависящие от нас самих. Он рассказывает, что подъехал на грузовике к побережью во время прилива. Увидел в воде машину, груженую снарядами. Вода уже добралась до кабины и, очевидно, остановила мотор.



Дверца кабины закрыта, а там спит шофер Куприянов. Разбудить его не удалось. Машину вытянули буксиром, но шофер так и не проснулся.

— Разгильдяйство! — возмутился я.

— Нет, — возразил Бекетов, — шофер здесь ни при чем. Это наша беспечность и равнодушие к людям! Куприянов пять суток возил снаряды без сна и отдыха. Человек он дисциплинированный и стеснительный, сам не попросится отдыхать. И никто из нас его не остановил. Думали, так и надо — война. А человек мог утонуть...

Вечером хоронили погибших. Прогремел прощальный винтовочный салют. На батарее появились первые могилы.

И тотчас из Полярного позвонил оперативный и сообщил, что жены наших товарищей осаждают коменданта МУРа. До Полярного дошел слух о гибели батареи, а туда только что прибыл пароход с семьями.

Космачев поговорил со своей женой и рассказал, что произошло в этот день на берегу залива Маттивоуно.

Ночью батарея залечивала раны. Из казармы все ушли в тундру, устраиваются на жилье в кустарнике поближе к позиции. Люди стараются хорошо замаскироваться, проверяют друг друга. Каждое отделение выбрало себе позывной. Но кусты — плохая защита от осколков бомб и снарядов. Надо строить надежные укрытия, рыть щели. Это дело нелегкое: глубоко не зароешься, мы живем на камнях и на воде. Придется отыскивать лощинки, распадки, строить укрытия из камня и бревен, которые валяются на берегу, но строить так, чтобы противник не смог их засечь. А время года светлое, полярный день, значит, надо выбирать для работы те часы, когда солнце бьет в глаза противнику. И кроме того, необходимо немедленно переносить на новое место наш командный пункт.

## **ПРАВОФЛАНГОВАЯ**

Нашу батарею называли потом правофланговой. Мы действительно находились на самом правом фланге огромного советско-германского фронта, на краю нашей земли, на берегу Баренцева моря. Правее нас воевали только корабли и самолеты Северного флота. Но по-настоящему мы почувствовали себя правофланговыми в тот день, когда левее нас, на перешейке между полуостровом Средним и материком, на черном хребте Муста-Тунтури, возник фронт. Противник начал наступление по всему Мурманскому побережью, и армия запросила нашей поддержки.

28 июня нас разбомбили. В тот же вечер гитлеровцы объявили по радио, что наша батарея уничтожена, — нам сообщили об этом работники политуправления из Полярного. 29 июня горнострелковый полк противника начал наступать на перешеек полуострова Среднего. На защиту границы двинулись наш стрелковый полк и бойцы пограничных застав. Рано утром Космачеву позвонил командующий участком прикрытия полуостровов и попросил поддержать пограничников артиллерийским огнем. Наконец-то мы нужны! В строю два орудия. Развернем их в сторону тыла и через голову нашего командного пункта откроем огонь по сухопутным рубежам.

В это время поступило боевое распоряжение от коменданта нашего укрепленного района: при прорыве врага на полуостров Средний боеприпасы расстрелять, батарею взорвать и с личным составом отступить на Рыбачий... Страшный приказ. Страшный и непонятный. Мы и без того ошеломлены случившимся, подавлены вестями о тяжелых боях на Большой земле. Взорвать батарею своими руками? Это не укладывалось в голове. Еще и недели не воюем, а уже приказано готовиться к отступлению... Покинуть полуострова? Краснофлотцы и слышать не хотят об отступлении. Вперед, на фронт, на сухопутный участок с винтовкой в руках, или на тот берег в десант — только не поддаться врагу!

Бойцы непримиримо относились к малейшему проявлению паники и трусости.

Очень много разглагольствовал о силе врага моторист Смирнов.

— Где наши хваленые соколы? — язвительно спрашивал он окружающих после бомбежки.

И это переполнило чашу терпения. наших истребителей действительно не было видно над полуостровами. Мы сами не понимали, что происходит, и мучительно искали ответа на этот вопрос. Но ни один человек не хотел принимать того, что говорил моторист, быстро поверивший в несокрушимость врага. Паникера едва не избили...

Обстановка на батарее сложная. А тут еще приказ о подготовке к взрыву.

Об этом распоряжении мы охотно забыли, когда нас вызвал командир полевой батареи Масленкин с высоты 200. Он собирается открыть огонь по монастырю на острове Хейносаари. Нет, это не монастырь, а НП, с которого просматривается не только полуостров Средний, но и Рыбачий с Мотовским заливом. Очень опасный НП, надо лишить их глаз, зрения, в этом — половина будущего успеха. С наблюдательным постом, за маскированным под монастырь, Масленкин справится сам. Он просит одновременно разбить НП на Ристаними.

— Война так война! — радовался Космачев.

И опять загремели залпы 221-й батареи. С высоты 200, расположенной правее, в тылу нашей батареи, тоже доносится грохот.

Наблюдательный пункт на Ристаниеми разбит. Мы прекратили огонь. Масленкин продолжает бить по острову. А нас теперь просит пехота поддержать ее огнем.

Значит, не подрывать будем пушки, а воевать! Дадим огонька! Только необходимо выслать в пехоту корректировщика, чтобы точнее в цель ложились наши тяжелые морские снаряды.

Пойти корректировщиком вызвался Трегубов. Ему дали рацию, телефонный аппарат, выделили в помощь радиста — нашего знаменитого лыжника Прокофьева — и телефониста Пименова.

До высоты 192, на которой должен работать корректировщик, четыре километра. Космачев доложил пехотному командованию, что батарея откроет огонь через полчаса: раньше корректировщикам не добраться до места. Огонь открыли через 24 минуты. За это время Трегубов и его товарищи успели добежать до высоты, засечь колонну вражеских солдат и вьючных лошадей и передать координаты цели на батарею.

— Цель, цель! — радостно кричал Трегубов, наблюдая за падением наших первых снарядов. — Усилить огонь! Солдаты бегут, много убитых...

Каждое его слово мы передавали на орудия. Это был первый настоящий бой с видимым противником, первое торжество после вчерашнего разгрома. Жива батарея, воюет, расплывается за погибших бойцов..

Разгромив колонну фашистов на марше, батарея перенесла огонь на наступающую пехоту и остановила противника. Пограничники в восторге. Сейчас каждый, даже скромный успех радует, утешает людей.

На Муста-Тунтури наши перешли в контрнаступление. Надо подождать с огнем, чтобы не ударить по своим. Передышка. Стволы орудий накалены. Морозов советует Покатаеву:

— Водичкой их, Саша, водичкой!

Покатаев понимает, что водой тут не поможешь — орудие плохо идет на накат. Надо ослабить горбыли, увеличить зазор между бронзовой рубашкой люльки и телом орудия. Краснофлотцы берут ключи, быстро ослабляют горбыли, а Покатаев, вспомнив о товарище, тут же звонит на третье орудие. Но Фисун, командир третьего орудия, уже сам догадался ослабить горбыли.

Обо всем этом мне с гордостью рассказывает лейтенант Роднянский: смотри, дескать, какие у нас матросы, думают друг о друге в бою, дружат, помогают...

Но и у Покатаева сегодня случилось чрезвычайное происшествие, и я не знаю, как его расценить: формально — ЧП, а по существу — молодцы.

Речь идет о бывшем пекаре Захарове. В огневом взводе двое «подопечных» — Захаров и Ивашев, в прошлом дружки и недисциплинированные бойцы. Ивашев ведет себя в бою хорошо, а Захаров... Стоит только Морозову отвернуться, как его подопечный тут же уваливает и от тяжелой работы и от участия в бою. Когда открыли огонь по вражеской пехоте, Морозову пришлось быстро подавать на орудия осколочно-фугасные снаряды. Он сам подносил к орудию семидесятикилограммовые ящики и не смог присматривать за Захаровым. А тот немедленно спрятался в убежище. Спohватившись, Морозов отыскал Захарова и заставил подносить снаряды. Но Захаров, боясь надорваться, не брал больше одного снаряда. В горячке боя Морозов опять забыл о нем. Вдруг кто-то неистово заорал: «Самолеты!» Артиллеристы на миг остановились. Заминка, пропуск в стрельбе — позорное происшествие для орудийного расчета. К тому же в небе никаких самолетов.

— Быстро заряжать! — рывкнул разгневанный Покатаев, и орудие возобновило огонь.

Покатаев спросил у краснофлотцев, кто кричал, кто поднял панику. Снарядный Павел Мацкевич показал на пекаря. Тот, испугавшись звука выстрела, повернул в это время прочь от орудия.

— Разрешите догнать? — спросил Мацкевич.  
— Давай.

Мацкевич догнал Захарова, схватил его за ворот, ударил сгоряча и заставил бегом нести снаряд к орудию.

Когда Захаров подбежал к орудийной позиции, был уже дан отбой. Орудийная прислуга окружила труса. К нему подскочил Ивашев, в ярости схватил за грудь.

Покатаев остановил матросов, готовых свершить свой суд над трусом. Захарова привели на КП. Артиллеристы требуют отдать его под суд. Смирнова и Захарова мы немедленно отправили в трибунал. Хорошо, что матросы сами стараются очистить батарею от скверны. Но меня все это тревожит. Мало мы знали людей до войны, плохо воспитывали. Ведь каждая такая потеря тоже на совести командиров.

Вскоре пехота противника опять пошла в наступление. Трегубов со своего корректировочного поста передал, что пограничники просят возобновить огонь. Опять загремели залпы.

В течение суток батарея двумя орудиями вела почти непрерывный огонь. Потом недолгая передышка — и снова огонь по сухопутным рубежам. Оттуда круглосуточно доносится гул сражения.

Мы знаем о ходе боев только по отрывочным сообщениям корректировщиков и по скудным на подробности радиовестям. Появилось Кандалакшское направление. На Мурманском побережье, кажется, плохо: фашисты продвигаются к Мотовскому заливу, нас отрезают от материка. На полуострова прибывают части морской пехоты. Значит, наш рубеж решено удержать во что бы то ни стало.

А приказ о подрыве не отменен. Во время боя мы стараемся забыть о нем. Но когда кончается бой, вынуждены вспоминать и действовать. Пришлось собрать всех командиров и разработать план уничтожения батареи. Космачев приказал Георгию Годиеву сформировать подрывную команду. Годиев так потрясен, что готов зареветь. Коверкая русский язык, он твердит: — Не могу. Я его строил. Этот батарея мой родной... Но приказ есть приказ. Годиеву пришлось стать начальником подрывной команды и продумать точный план поджога и подрыва объектов. В нужные места доставлены банки с бензином, взрывчатка. Определено, кто отвечает за уничтожение каждого объекта по сигналу, который может поступить от командира батареи.

Эти приготовления деморализуют людей. Краснофлотцы мрачны, не слышно обычных шуток. Мы готовы беспрерывно вести огонь, переносить самые адские бомбежки, все что угодно, только не думать об уничтожении батареи.

Но и огня мы не можем вести: надо беречь орудия. Есть предел живучести для каждой пушки, а мы в первых боях увлеклись и почти до предела расстреляли стволы. Пехота снова требует огня, но мы вынуждены отказывать. Главная задача батареи — стрелять не по суше, а по морским целям. Знаем, что в Петсамо нет железной дороги. И вообще туда нет нормальных путей по материка. Единственный путь — море. Петсамо — база всего мурманского направления. Противник должен питать свой фронт. Наша задача не допускать его в порт, блокировать Петсамо.

Батарея ждет главного противника, сохраняя для него последние ресурсы. Кораблей все нет. Но они обязательно пойдут.

Это случилось 3 июля, в тихий, безоблачный день. Солнце светило со стороны противника, ослепляя нас. Между батареей и черным гранитом по ту сторону фиорда пролегла сверкающая бликами полоса. Наблюдать за морем трудно. Сигнальщики несколько раз меняли светофильтры в стереотрубе. Остановились на зеленом. Теперь в поле зрения словно не море, а бесконечное холмистое поле, усеянное нежнозелеными листьями. Михаил Глазков, наш лучший сигнальщик, уверял, что так легче глазам.



Командный пункт уже перенесен в более безопасное место. Оборудовали мы его скрытно, противник как будто не засек нашу работу. Теперь у нас хороший круговой обзор. Но укрытия пока легкие и малонадежные.

Цель появилась внезапно и так демонстративно, словно немцы не берут в расчет нашу батарею. По фарватеру, не маневрируя и не маскируясь, не спеша шли в порт большой, глубоко сидящий в воде и, очевидно, полностью загруженный транспорт и катер противолодочной обороны. По всему видно, что капитан транспорта поверил в сообщение германского радио об уничтожении советской батареи на берегу Варангер-фиорда.

Первым в сектор стрельбы вошел катер. Мы его не тронули. Нам нужен транспорт. Вот он пересек предельную дистанцию, Космачев приказал открыть огонь.

Все-таки дальнобойность батареи мала. Горько сознавать это, ведя огонь по хорошо видимой цели. Первые снаряды легли с недолетом. Транспорт шел на сближение с нами. Космачев быстро скорректировал и перешел на поражение. Но падения снарядов мы уже не могли наблюдать. Как только немцы убедились, что батарея существует, катер, следовавший впереди транспорта, развернулся, дал полный ход и выпустил белый шлейф дыма. Безветрие было на руку противнику. Плотная дымовая завеса надежно скрыла от нас транспорт.

Катер мы потопили. Но он сделал свое дело: транспорт под прикрытием дымовой завесы лег на обратный курс. Когда мы его снова увидели, он был уже недосыгаем. На транспорте усердно тушили пожар, вызванный, видимо, взрывом нашего снаряда. Добить судно мы не могли. Зато и в порт оно не прошло, а потащило свои грузы куда-то на запад, в фиорды Норвегии. Батарея выполнила в тот день свою прямую задачу — порт был блокирован.

Но и орудия еле живы. Мы убедились в этом сразу же после боя с вражеским транспортом.

Сигнальщики заметили на противоположном берегу толпу фашистских солдат, глазевших на то, что происходило на море. Мы уговорили Космачева послать в толпу несколько снарядов.

Но что это? Снаряды летят не со свистом, а с каким-то переливчатым шипением. Ухо любого артиллериста различает такую разницу. Это тревожный сигнал: стволы орудий изношены, их нужно срочно заменить. А если завтра пойдут в порт другие корабли? Если появится десант?

Космачев доложил в Полярный и получил приказ ждать. Будем ждать. А кругом кипят бои. Будем ждать. А положение на фронте все хуже. О нас уже пишут в газетах, передают по радио, а мы сидим без дела, но под огнем. Убедившись, что батарея жива, противник снова бросил на нас авиацию. Начались зверские

бомбежки и штурмовки, по несколько раз в день. Самолеты летают низко, выискивая цель. Нам нечем с ними бороться. Маленькие пушечки Пушного тоже расстреляны до предела. Теперь самое действенное наше оружие против самолетов — счетверенный пулемет Травчука. Урок первой бомбежки пошел на пользу. Пулеметчики оборудовали несколько запасных позиций. Каждый бой Травчук начинает с новой позиции, обманывая разведчиков противника. И во время боя он кочует со своей установкой с места на место, гоняет «юнкерсы», мешая им прицельно бомбить. Пока за нашими зенитчиками не числится самостоятельно сбитых самолетов. Двух бомбардировщиков они поделили с истребительной авиацией Северного флота.

Мы уже наслышаны о летчике Борисе Сафонове, который на третий день войны сбил «Хейнкель-111». Над нами изредка появляются «ишачки» и «чайки». Мы восторженно глазеем на них: не Сафонов ли это? Где-то, возможно, дерется с немцами и мой младший братишка Петро. Он летчик-истребитель, должен был в этом году окончить авиационное училище. Возможно, поэтому мои симпатии на стороне летчиков. В зенитное оружие, как в этом ни стыдно признаться артиллеристу, я тогда еще не уверовал, не видел на практике его силы. Но Травчук горячо убеждал, что возможности зенитчиков неисчерпаемы, им бы только побольше техники.

— Садишь ему прямо в лоб огненную струю, — рассказывал он про бои с немцами, — нервы у него не выдерживают, отворачивает, уходит. Но успевает, черт, дотянуть до дому, слишком близки их аэродромы.

Травчук считал, что все вражеские бомбардировщики уходят восвояси, прошитые его очередями...

Мы начали привыкать к налетам. Каждый старался изобрести свое средство борьбы с воздушным противником. Стреляли в самолеты даже из винтовок. А Годиев, человек вспыльчивый и во время боя неистовый, каждый раз палил по ним из пистолета. Бессмысленно, но нет сил молча, сложа руки торчать в укрытиях.

Побывал я в те дни в нашем тыловом городке хозяйственников. Им доставалось от немецкой авиации больше всех, а защиты — никакой. Но к нам, приходящим с огневых позиций, там относились как к фронтовикам. Мы видим противника, уже потопили корабль, взаимодействовали с пехотой и даже с нашими эскадренными миноносцами, которые заходили в Мотовский залив и вели огонь по наступавшим на полуострова фашистам. Флотские газеты пишут о нас, космачевцах, поэтому всю славу хозяйственный взвод скромно отдавал огневикам.

Каждого гостя с передовой потчуют, чем могут. То принесут поджаренного в консервной банке кулика, то угостят фаршированным перцем — все это еще довоенные запасы, о которых мы с тоской вспоминали в последующие трудные

годы; то вдруг матросы предложили мне подкрепиться необычным напитком сверх положенных северянину граммов вонючей водки, которой мы придумывали всякие непотребные прозвища за примеси, в ней содержащиеся. Заметив, что я напустил на себя строгий вид, хозяйственники заверили, что напиток безалкогольный — к вечеру он будет доставлен в городок.

А пока старшина Жуков протянул мне изготовленную к броску гранату и попросил разрядить ее. Я понял, что ему хочется рассказать какую-то историю и охотно пошел навстречу. Спрашиваю, зачем вставлен запал.

— Хотел сбить рыжеусого, — всерьез ответил Жуков.

Летают, оказывается, немцы так низко, что одного из них старшина уже опознает по рыжим усам и пытается сбить гранатами.

Вечером Жуков таинственно сообщил: сейчас меня угостят обещанным безалкогольным напитком. Мы уже прослышали, что к тыловикам прибудилась бесхозная корова. Трижды в день городок хозяйственн ого взвода оглашает раздирающее душу мычание: кто-то должен корову доить. Эту обязанность вменили санитару Бабурину из соображений хозяйственных и гуманных. Бабурина стыдно, он боится, что на передовой прознают, каким он занимается «женским делом, когда другие воюют». Секрет этот известен, конечно, всей батарее. Но я охотно притворился ничего не ведающим. В тот вечер, щадя самолюбие Бабурина, корову вызвался доить младший лейтенант Годиев, уверяющий, что он этим занимался в Осетии. Он только потребовал под смех матросов, чтобы Бабурин держал хвост. Я долго смотрел на его работу, делал он ее ловко и, как мне казалось, с удовольствием, будто действительно всю жизнь доил коров. И все вокруг шутили, посмеивались, но поглядывали на это житейское и столь мирное занятие с грустью.

Я попросил у Жукова кусок черного хлеба и соли. Годиев уже надоил полное ведро, запахло парным молоком. Я погладил морду коровы и протянул ей густо посоленный хлеб.

Вот так шестилетним мальчонкой с копной нестриженных белых волос, в белых самотканого полотна штанах выводил я на заре на луг за Днепром мамкиных коров, доставал из торбы за плечами кусочки черствого хлеба, обильно посыпал их солью и кормил коров. Иногда не в моих силенках было совладать с ними, не я их, а они меня, беспомощного, волокли по земле, в которую я упирался изо всей мочи, чтобы не упустить веревку, и торба с хлебом всегда меня выручала...

Матросы притихли, стояли молча. Далеко от наших гранитных скал до Днепра, до Десны, до Сожа, до всей нашей широкой земли. А душа каждого там. Оттуда нет ни писем, ни толковых сообщений. Неведомо нам, что с родными, с матерями, женами, невестами. Мы все ждали, что немцев вот-вот остановят, погонят назад, а они наступают. Теперь и Украина горит, и Белоруссия в огне.

Мы уже знаем, что фашисты зверствуют, все уничтожают, жгут; стонет, захлебывается в крови родная земля. Ох как трудно удерживать людей здесь, в этой заполярной тундре, чуждой и холодной, убеждать их, что здесь они защищают хаты Украины и Белоруссии. Накануне мне пришлось долго и трудно разговаривать об этом все с тем же зенитчиком Травчуком, которому Б эти дни нашего вынужденного безделья приходится воевать больше всех, почти без передышек. Он воюет самоотверженно, но душой, сердцем, мыслями — далеко отсюда, мечтает когда-нибудь вырваться и попасть на фронт ближе к родным местам. Травчук — коренной одессит, одесский матрос, в самый канун войны получил письмо, о котором долго и подробно рассказывал теперь мне, холостяку, но командиру, обязанному все выслушивать и понимать. Приятель в этом письме сообщал ему об измене жены. Я неопытен в таких делах, сам встревожен долгим молчанием Нади, которую не видел уже два года. Но знаю — в обязанность командира входит и такое — утешать, поддерживать боевой дух бойца. Стал неуклюже успокаивать Травчука, доказывая, что приятель мог-де и наврать, а человеку надо верить, тем более близкому человеку, с которым связал свою жизнь... Оказалось, что все мои старания ни к чему. Травчук и сам давно пережил эту беду, все передумал, готов жене все простить, потому что война, немцы подходят к Одессе, а жена в Одессе, и он должен быть рядом, защищать ее там и защищать родной город. Я твердил, что и здесь мы деремся за родную Украину, у меня тоже есть кого там защищать, но нас поставили на этот рубеж, и мы не дядьки-партизаны времен гражданской войны, которые готовы были драться только за свою волость, за свой уезд, не понимая, что борьба всюду одна, общая — за революцию...

— Нескоро теперь до хаты, — нарушил общее молчание старшина Жуков, когда я скормил корове чуть ли не полбуханки.

Мне не хотелось разговаривать на эту болезненную тему, и я спросил, как используют молоко. В пищу, оказывается, идет только часть, остальное нередко выливают.

— Почему же не отдаете в лазарет?

— Так там же пусто. Товарищ Попов жалуется, что ни больных, ни слабых здоровьем на батарее теперь нет. А раненые лечатся на ходу, боятся, чтобы не отправили в тыл...

— Все равно нельзя, чтобы добро пропадало. Отправьте корову в подсобное хозяйство.

Но Жукова не упрекнешь в бесхозяйственности. Он рачительный хозяин, старательно сохраняет от бомбежки и от порчи большие запасы продуктов. В озере, как в холодильнике, хранятся у него бочки с огурцами, помидорами и капустой. Вода надежно защищает эти глубинные склады от бомб. Именно благодаря Жукову мы пока ни в чем не знаем нужды, и надо думать, что хорошо

обеспечены на зиму. А корову он действительно придерживал для лазарета; сегодня там пусто, а завтра может быть и полным-полно.

Лазарет — тихий, удаленный от бомбежек уголок нашей земли, заросший цветами и кустарником. Наш медик Попов подтвердил, что к нему совсем перестали обращаться с жалобами на недуги. Самый тяжелый больной Николай Шалагин и тот сбежал.

Шесть дней лежал здесь на постели из веток березы и травы тяжело контуженный при первой бомбежке наводчик покатаевского орудия Николай Шалагин. Попов убедился, что не так страшна его контузия, как тяжела психическая травма, связанная с внезапной гибелью близкого друга наводчика Корчагина. Шалагин лежал молча, ни на что не реагировал, отказывался от еды, равнодушно и бессмысленно глаза на небо. От голода он таял на глазах. Тогда Попов пригрозил эвакуацией в тыл:

— Не будешь есть — отправлю помирать в Няндому...

Шалагин — коренной северянин, человек по характеру малообщительный, неразговорчивый. Только Корчагин знал его тайны и, в частности, то, что он мечтает вернуться к осени в свою родную Няндому. Зимой он был в краткосрочном отпуске и женился. Жена ждала ребенка, как раз к осени, когда подходил срок увольнения мужа в запас. В лазарете Шалагин получил письмо из Няндомы: у него родилась дочь. Попов этого не знал, Шалагин ни с кем своей радостью не поделился. Уж кому-кому, а ему-то необходимо побывать на родине. Но Шалагин не хотел и думать об этом. То ли на него подействовала весть из дому, то ли испугался отправки в тыл, особенно страшной для человека, только что потерявшего на фронте лучшего друга, но Шалагин изменил поведение. Стал есть и быстро поправлялся. 3 июля, когда мы открыли огонь по фашистскому транспорту, он сбежал из лазарета на передовую. Санитар кинулся было вслед, но фельдшер остановил его, считая, что все происходит, как должно: в психическом состоянии контуженого наступил перелом. Шалагин участвовал в бою и в лазарет больше не вернулся.

Нас ежедневно бомбят. Подождли казарму, выжигают скудный северный лесок. Годиёв со своей подрывной командой превратился в пожарного — это ему нравится больше. В начале августа, когда над полуостровом спустились сиреневые сумерки, на батарею налетело 32 бомбардировщика. Выстроившись в цепочку и образовав круг радиусом около трех километров, они затеяли на небольшой высоте долгую зловещую карусель. Космачев приказал зенитчикам в бой не вступать. Да и что могло сделать их потрепанное оружие против такой массы самолетов! Лучшая защита в этот момент — полнейшая маскировка. А самолеты все кружили, кружили, искали цель, провоцировали огонь. Это действовало угнетающе. Космачев приказал мне приготовить все на случай появления парашютного десанта. Я назначил маневренные группы для уничтожения десантников, приказал расстреливать парашютистов в воздухе.



Все огневые средства, в том числе и оба бездействующих орудия, развернули в сторону долины, где вероятнее всего мог приземлиться десант. Зарядив винтовки, батарейцы изготовились к стрельбе.

По распоряжению командира стали уничтожать секретные документы. Их накопилось немало. Афонии зарыл в глубокую яму свод флотской сигнализации. Писарь Гавриш, загрузив печурку секретными бумагами и запалив их, устроился возле дымовой трубы и стал бескозыркой разгонять дым, уничтожая, как он объяснил, демаскирующие признаки.

Десант не состоялся. Карусель внезапно распалась. Часть самолетов ринулась бомбить наш тыловой городок, конюшни, коровники. Другие стали сбрасывать бомбы на пустынные сопки позади нас. Вместе с бомбами к нам падали бочки с мазутом и контейнеры с листовками. Мы поняли, в чем дело. Самолеты прилетели не с юга и не с запада, а с востока. К Мурманску их не пропустили, и они решили разгрузиться над батареей: только бы вернуться на аэродром пустыми.

Нас очень тревожила судьба тыловиков: им досталось слишком много бомб. Вскоре примчался бледный старшина Жуков и доложил о большом несчастье: погибло все наше батарейное стадо, но не от бомб, а по дурости моего старого знакомого ездового Степанова, пасшего коров.

Степанов со стадом жил на отлете. Он соорудил себе неплохое убежище, кормил лошадей, пас коров, доил их. Животные привыкли к пастуху. Под бомбежку Степанов попал впервые. Время было вечернее. Испугавшись, он выскочил из убежища и с винтовкой в руках помчался к сопкам. Стадо бросилось вслед.

В те времена, когда поступило распоряжение о подготовке батареи к взрыву, каждый матрос получил инструкцию: в случае угрожаемого положения уничтожать имущество, за которое отвечает. Фронт на Муста-Тунтури давно стабилизировался. Оборону полуостровов передали в руки Северного флота. Никто теперь не думал об отходе, хотя наше положение после взятия немцами Титовки ухудшилось. Мы, по существу, жили не на полуостровах, а на острове. Но твердо знали: полуострова — ключ от Кольского залива. Здесь решается судьба всего побережья и всего флота. Здесь будем стоять насмерть. Вполне резонно следовало забыть о неприятном распоряжении, хотя оно и не отменено. Но Степанов решил иначе. Смертельно испугавшись, он перестрелял бежавшее за ним стадо. Коровы, дескать, наводили на него самолеты противника. По дурости труса мы остались без молока и без мяса.

Эта печальная история натолкнула Годиева на блестящую мысль. Раз немцы выискивают первые попавшиеся цели и, чтобы освободиться от груза, бомбят пустынные места, надо создавать ложные цели и таким образом «руководить бомбометанием противника». Годиев вообще неистощим на выдумки и жаждет

принять участие во всех боевых делах, особенно после того, как вопреки желанию его назначили начальником знаменитой «подрывной команды». Люди Годиева и пожары гасят, и щели сооружают, и по самолетам из винтовок палят. А теперь еще сделали на пробу ложную батарею из бревен. Немцы немедленно сбросили на нее бомбы. Тогда на ближнем островке мы поставили макет зениной батареи. Ставили так, чтобы нашу возню обязательно засекали наземные наблюдатели и воздушные разведчики противника.

И клюнуло! Гитлеровцы стали бомбить островок ежедневно. Тогда мы разработали и подготовили целую серию обманных мер. Их охотно осуществляла команда младшего лейтенанта Годиева. В момент налета она то в одном, то в другом месте сооружала из бревен «орудия», подрывала камни, имитируя строительство, словом, заставляла вражеских летчиков сбрасывать бомбы туда, где это было безопасно для нас.

Мы уже научились более спокойно вести себя под бомбежкой, рассредоточиваться, маскироваться, укрываться за камнями. Только не сразу начали всерьез закапываться и строить. На флоте матроса не приучали к труду пехотинца, к кирке и саперной лопатке. Это пришло с войной. Иногда для начала серьезного дела нужен маленький толчок, повод, побуждение. Нас на это натолкнули армейцы. Работник политотдела армейского укрепленного района, энергичный капитан с орденом Боевого Красного Знамени на гимнастерке, обозвал нас странным, непонятным мне до сих пор, но крепко засевшим в памяти словом:

— Вы ланцепупы, а не вояки! — гневно закричал он, когда выяснил, что стереотруба стоит в маленьком ровике, бойцы укрываются в земляночках, а командный пункт почти на поверхности. — Чему вас на флоте учат? Перебьют, как куропаток! Где ваши укрытия, блиндажи? Наковыряли ямок и рады! Хватит безобразничать. Стройте оборону, убежища!..

Капитан не был для нас начальником или старшим. Он случайно появился на батарее, прослышав об успешных боях космачевцев. Появился, чтобы все посмотреть своими глазами, обо всем расспросить и потом рассказывать об этом в армейских частях. Посмотрел — и удивился, что мы еще уцелели в подобных условиях. Нашумел и внезапно исчез.

Но мы просто оторопели. Ведь он прав! Довольно сидеть без дела. Ждем запасных частей к орудиям, ждем указаний. Как в детской игре, охотно исполняем команду «Замри». Давно пора побывать в соседних армейских частях, посмотреть, как воюют там, как ведут себя под бомбами и снарядами... Даже самолюбивый Космачев, не очень-то терпевший замечания, даже он не обиделся на того капитана.

— Не зря, видно, дали человеку орден! Опытный, настоящий товарищ, — бросил он, угрюмо взглянув на замполита Бекетова.

С тех пор как ввели институт комиссаров, между Космачевым и Бекетовым начались настоящие трения. Бекетов как комиссар прикажет одно, Космачев тут же — другое. Особенно это испытал на себе я, как помощник командира. Космачев привык к единоначалию и не терпел никакого вмешательства в свои действия. Ему предстояло сжиться с человеком, который был заместителем, а стал равноправным. Кроме того, на нашего командира подействовала и первая волна славы, прокатившаяся по флоту. Ему хотелось воевать, умножать эту славу, а мы, как я уже рассказывал, сидели без дела. Во всяком случае, история с «ланцепупами» сильно задела его самолюбие. Командир заставил нас крепко попотеть и за делом позабыть невзгоды.

Мы впряглись в тяжелую, но благодарную работу: копали, маскировали, строили, используя рельеф местности, сооружали прочные укрытия из обломков скал и бревен. С тех пор как у наших берегов начали боевые действия подводные лодки Северного флота, море выбрасывало много строительного материала.

К нам прибыла группа армейских саперов ставить минные поля вдоль побережья. Командовал людьми молоденький младший лейтенант, только что окончивший какие-то краткосрочные курсы в Харькове. Этот птенец без устали драил единственный кубик на петлице — второй он уже где-то потерял — и приговаривал, что сапер может ошибиться только один раз. Он ошибся этот единственный раз, показывая проходы в новом минном поле. Мы пошли в заминированный район в сумерках. Знаков ограждения еще не было. Я мгновенно почувствовал, как ботинок скользнул по вертикальной стенке гладкого предмета, и в страхе остановился. Нагнулся, нашел у носка правой ноги противопехотную мину. Показал ее младшему лейтенанту. Он посетовал, что мы пошли осматривать поле в сумерки, и предложил каждому разминировать для себя проход, чтобы выбраться в безопасное место. Объяснив, как это делать, благо мы углубились в минное поле не больше чем на два метра, младший лейтенант в последнюю минуту надумал показать нам границу минного поля и подорвался. Его легко ранило в ногу. Но незадачливый сапер был потрясен и без конца приговаривал: «Какой позор, какой позор...» Через два дня он умер в лазарете, думаю, что от нервного потрясения...

Тут же на mine подорвался еще один сапер, пожилой боец из запасников. К счастью, он отделался шоком. Неприятности с саперами вынудили нас ходить по берегу с опаской. Пусть лучше на наших минах взрываются фашистские лазутчики!

## **ОГОРЧЕНИЯ И НАДЕЖДЫ**

Батарею продолжали бомбить ежедневно, но мы уже считали себя закаленными бойцами. А между тем нас ожидало новое испытание.

Однажды что-то со свистом пролетело над орудиями. Над огневой позицией поднялся фонтан земли и дым. Сигнальщик доложил, что противник обстреливает огневую. Внимательно разглядели в стереотрубы побережье противника. Никаких признаков жизни.

— Откуда стреляли? — спросил Космачев сигнальщиков.

— Не засеки. Выстрел был произведен из Петсамо.

— Наблюдайте внимательно. Батарею надо обнаружить.

Трегубов буквально прилип к стереотрубе, а мы стали взволнованно обсуждать случившееся. Появилась береговая артиллерия? Или, может быть, мы не заметили в тумане, как прошел в Петсамо эсминец? Это маловероятно. В последний месяц корабли противника по заливу не ходят, ждут полярной ночи. Мы знали что нас будут обстреливать из орудий, теоретически даже готовились к контрбатареинной борьбе. Но сейчас нельзя и ответить. Приказано молчать и ждать.

А снаряды рвутся на огневой позиции. К бомбам мы уже привыкли. Их можно увидеть заранее. Снаряд же не наблюдаем в полете, он обнаруживает себя только звуком. Да и это неточно. Звук почти всегда отстает. Когда снаряд летит на тебя и должен упасть где-то рядом, его полета совсем не слышно.

Первый обстрел вызвал замешательство. Это вполне естественно. Новое оружие по-новому действовало на психику. А главное, мы не можем отвечать... Даже если бы нам разрешили, мы не смогли бы ответить: вражеская батарея бьет с такой дистанции, которая нам не под силу.

Снаряды ложатся все ближе к нашим орудиям. Уйти с позиции нельзя — орудия на стационарных основаниях. Невозможно и закрыть материальную часть. Остается одно: стиснув зубы, ждать конца обстрела. Мы думали не о смерти, не об угрозе нашей жизни, а о своей пассивности и беспомощности. И о спасении последних орудий. После каждого разрыва на командный пункт поступали доклады: «На втором — порядок»... «Третье — цело»...

Космачев приказал убрать с орудий всех краснофлотцев. Мы прислушивались к свисту и разрывам снарядов и невольно ворчали. Вот ведь бьет вражеская батарея, а мы не видим откуда. Бьет с закрытых позиций. А паши орудия как на ладони. Не подойдешь, не подползешь незаметно. Тот, кто ставил их, не собирался, наверное, командовать батареей. Сейчас бы его сюда, под огонь, чтобы на своей шкуре почувствовал, каково воевать на такой позиции...

Выпустив 48 снарядов, противник прекратил огонь. Жертв и повреждений не было; все жегодились нам укрытия, построенные по совету армейского политработника. Матросы приободрились. Морозов, мрачный от безделья, снова смеется.

— Закаляют фрицы наши нервы. Смотри, Коля,— говорит он Шалагину. — Учись у противника, как не надо работать наводчику. Полсотни снарядов, а результат — ноль!

— Плохо работать не наука, — отозвался Шалагин. — Я жду случая. Каждый уничтоженный корабль противника будет моим подарком дочке...

Это была первая и самая длинная его речь за последние месяцы. Батарейцы обрадовались, что Шалагин наконец заговорил, и тут же пообещали, что его дочка будет богатой...

Нет таких условий, к которым бы не привык человек. Мы тоже довольно быстро приспособились к артиллерийским обстрелам. Противник начинал их ежедневно в 16.00. В это время солнце останавливалось на той стороне, подсвечивало им, а нам било в глаза. По осколкам определили, что стреляет 150-миллиметровая батарея. Оказывается, не так страшен черт, как его малюют: ни одного раненого, ни одного убитого.

Но радовались мы рано. Людей догадались убрать, а снаряды и заряды оставили в оружейных нишах. А их необходимо было вынести из оружейного дворика.

Один из снарядов противника попал в зарядную нишу третьего орудия. Заряды взорвались, взметнув в небо огромный огненный факел. Горящий порох разлетелся по всему дворику и проник в деревянные колодцы. На орудии загорелась краска, вспыхнуло деревянное основание.

Коробки с накаленными зарядами рвались, как бомбы, фейерверком, разбрасывая горящий порох. Вокруг орудия море огня, вот-вот взорвутся накаленные снаряды.

Увидев дым над огневой позицией, краснофлотцы выскочили из укрытий и бросились спасать орудие.

Противник, естественно, усилил артиллерийский огонь по участку, над которым облаком стояло пламя. От взрывов стонала земля. Покатаев, Морозов, Рачков, Шалагин пытались сбить пламя песком, землей, струями из огнетушителей. Но оно становилось все свирепей. Тогда прямо в огонь бросился краснофлотец Павел Мацкевич, снарядный из расчета Покатаева, тот самый, что когда-то вернул на позицию струсившего Захарова.



— Снаряды выносить, взорвутся! — закричал он из огня. И через какое-то мгновение выскочил из пламени с накаленным снарядом в руках.

В огонь тотчас бросились Покатаев, Морозов, Барканов, Рачков и Шалагин, а лейтенант Роднянский и старшина Зубов с помощью остальных бойцов пытались унять пожар.

В дворике 50 снарядов. Каждый весит около 35 килограммов. Надо вынести из огня более полуторы тонны смертельно опасного груза.

На Морозове вспыхнула одежда.

— Горишь, командир! — закричал подносчик снарядов Мула Шакиров. И окатил его водой.

— Спасибо, Мула! — Морозов снова нырнул в огонь.

На оружейной позиции раздался глухой взрыв. Что-то прошумело, просвистело. Шалагин увидел, как кто-то упал. Он подбежал и опознал Мацкевича.

— Что с тобой?

— Ничего, споткнулся... Беги за снарядами...

Мацкевич поднялся и подтолкнул Шалагина к оружейному дворiku. Но оттуда выскочил Сергей Рачков и сообщил, что все снаряды вынесены.

Роднянский приказал засыпать дворик землей.

В это время Годиёв доставил из хозяйственного городка мотопомпу. Рукав раскатали до ближнего озера. Мощная струя воды сбила наконец огонь.

Обстрел прекратился. Орудия в сохранности. Только все в огневом взводе закопченные, обожженные.

Матросы окружили Мацкевича. Он сильно обгорел. Опалены ресницы, брови, волосы на висках. Обожжены губы. Лицо в крови, глаза налились кровью. Шрапнельный снаряд, который Мацкевич вынес из огня, взорвался почти у него в руках, едва матрос положил его на землю. Стакан снаряда рванул назад; шрапнельные пули — вперед. Счастье, что снаряд лежал головкой к морю.

Николай Шалагин возмутился: почему Мацкевич сразу не объяснил, в чем дело?

— Людей не хотел пугать, — спокойно ответил Мацкевич. — От взрыва никто не пострадал. А скажи я правду, все бы всполошились. Вышла бы заминка. Глядишь, и взорвались бы фугасные снаряды, еще не вынесенные из огня...

На этот раз противник израсходовал на нас 120 снарядов. Убитых и раненых нет. В строю осталось только одно орудие. Второе в сохранности, но держится лишь на установочных болтах — сгорело основание. Сразу же после артналета батареицы раздобыли брусья и стали подводить их под орудие.

А тут еще пришло страшное известие: наши войска оставили Киев. Киев — это значит вся Украина до самого Днепра. У меня было такое состояние будто обрушилось все, все погибло — и мать, и отец, и друзья детства, все оборвалось. Надя давно не пишет. Очевидно, все между нами кончено. Где отец, неведомо. Мать собрала возле себя всех дочерей и жен моих братьев, всех своих внуков, а их много. Каково ей там, да и выжили ли они в том устрашающем урагане, который прошел по Украине? Моя мать, Василиса Денисовна, колхозная активистка, она и колхоз в Стайках строила (из первых его организаторов), и с кулачем воевала. Вся наша семья воевала с кулачем. Теперь мы, мужчины, на фронте. Петя наверняка летает. Средний брат Иван, семья которого тоже в Стайках, служит на Днепровской военной флотилии. На фронте сестрин муж, сестра с дочкой у мамы. Туда же уехала, как в безопасное место, и жена Максима с тремя детьми. Немцы, конечно, станут мстить нашей, семье, я уже слышал о фашистских зверствах, а ведь мы на полуостровах знаем лишь толику происходящего, газеты приходят нерегулярно. Может, и отец, и все наши женщины — в партизанах. Я живу этой надеждой и дорожу теперь каждой строчкой о партизанах Украины.

И не только я. Мрачнеют, становятся злее, угрюмее с каждым днем те, у кого семьи остались на захваченной оккупантами земле. Нам стыдно и больно бездействовать. Только и разговору сейчас о передовой. И верно, взять бы в руки винтовки — и на Муста-Тунтури! Но это лишь разговоры, облегчающие тяжелое настроение. Война предстоит долгая и очень трудная. Крепче нервы, больше выдержки — в этом единственное спасение. Мы будем воевать именно здесь, у входа в залив.

Пришла наконец радостная весть из Полярного. Нам приказано выбрать для батареи новую огневую позицию и, кроме того, доложить, сколько и каких нужно запасных частей, чтобы ввести в строй все орудия.

Космачев от радости подскочил, как мяч. Будет батарея! Построим ее по своему вкусу, построим по-боевому, учтем горький опыт первых месяцев войны.

— Быстро, лейтенант, на огневую! Одна нога здесь, другая там. Уточните степень повреждений — и мигом сюда с ответом!

— Есть! — Я тоже счастлив и мчусь на позицию, как мальчишка.

Огневики ужинают, приглашают к столу. Но мне нужен командир взвода, и немедленно. Роднянский, оказывается, пошел к озеру. Приказываю быстро его позвать.

— Пойдем на передовую? — гадают краснофлотцы, видя мое возбужденное состояние.

— Мы и здесь на передовой!

— Много здесь навоюешь... Разве только с ложной батареей...

Я не стерпел и, не дождавшись прихода Роднянского, выпалил: будем строить батарею. Сейчас выберем для нее новое место.

Пришел мой друг, весь обвешанный оружием. С первых дней войны он носит и пистолет, и нож, и две гранаты, и подсумок с патронами.

— Ну, Зяма, не зря ты приказал засыпать землей оружейный дворик! Откапывать не придется.

— Шутишь! — Роднянский побледнел, сорвал пилотку с копны рыжих курчавых волос, вытер вспотевший лоб.

Я успокоил его и объяснил, в чем дело: не ликвидируем батарею, а создаем новую. Только надо сначала пройти по старым оружейным позициям и точно записать, в чем нуждаемся.

Может, и не надо было для этого идти на орудия — мы все помнили наизусть. Тем более, что Роднянский предупредил: стоит только сунуться к огненным позициям, как противник тут же откроет огонь. Но сегодня нам наплевать на противника: надо все осмотреть и ощупать своими руками.

Мы, конечно, старались пройти незамеченными, но артобстрел начался немедленно. Следят за каждым движением. Разбогатели, мерзавцы, упиваются успехами и молотят целый день. Ничего, скоро и на нашей улице будет праздник...

Закончив работу, мы уходим с оружейных позиций распрямившись, в рост. Словно сигнализируем противнику: хватит бессмысленно бросать снаряды. И действительно, вражеские артиллеристы переносят огонь вперед, в направлении нашего пути. Они провожают нас до лесочка.

Спрашиваю Роднянского, где бы он хотел заполучить новую огневую позицию — удобную, надежную и безопасную. Он, не раздумывая, показывает на покрытую кустарником возвышенность. Место, и верно, хорошее. Орудия можно посадить глубоко в землю, надежно замаскировать, да и подходы к ним будут скрыты от наблюдателей противника.

На другой день после рекогносцировки мы уже рыли на новой позиции котлованы под основания орудий. Между орудийными расчетами стихийное

соревнование. Тут и премии не нужны, и понуканий не требуется — искренний товарищеский азарт. Работали круглые сутки. Котлованы отрыли в небывало короткий срок. Время военное, и люди чувствуют это каждой кровинкой. Строим с учетом и опыта боевых действий, и конкретной обстановки: условий видимости, направления пикирования самолетов, директрисы стрельбы батарей противника. Интервалы между орудиями не 20 метров, как это было раньше, а около 180. Теперь одна бомба не выведет разом из строя два орудия. А раньше достаточно было противнику открыть огонь по центру батареи, и он мог рассчитывать на вероятность общего поражения. Глубоки будут и орудийные дворики. Брустверы делаем двойные, набивая камнями и землей. Они хорошо укроют от осколков даже самого высокого артиллериста. Строим старательно, нам тут жить и воевать. Работаем, конечно, скрытно, обманываем противника, используем наступающую осень.

В сумерки нам доставляют на повозках толстые, в шесть метров длиной брусья для орудийных двориков. Их потребуется около 150 штук, а для перевозки — по меньшей мере 70 подвод. Трудно раздобыть такое количество лошадей и повозок, а главное — скрыть их движение от врага. Ищем окольные подходы, сгружаем брусья не там, куда они предназначены, потом перетаскиваем на себе.

Каждый знает: наши трудности пустяк по сравнению с тем, во что обходится каждый брус флоту. Противник блокирует все подходы к полуостровам, захватил побережье Мотовского залива, установил там батареи. Баржи идут к Рыбачьему сквозь завесу огня. Каждый грамм груза оплачен смертельным риском, а иногда и кровью...

Новые позиции готовы. Теперь получить только запасные части для орудий, и батарея войдет в строй. Но без дела мы уже не сидим, минувшее многому научило.

В котловане на новой позиции Космачев собрал уставших матросов и обратился к ним с дружеской речью. Общий энтузиазм и надежда на скорое участие в бою тесно сплотили и воодушевили людей. Но тяжелая работа до предела вымотала их. Возникла естественная потребность в товарищеском разговоре. Все благодарны командиру, что он это почувствовал.

С Космачевым пришел какой-то представитель, явно гость издалека, в морском кителе, но, конечно, штатский. Он разглядывает нас с любопытством и даже с восторгом... Матросы шепчутся, гадают: то ли актер, то ли корреспондент, а может быть, инженер с артиллерийского завода?.. Для нас каждый приезжий — чудо. А Космачев испытывает терпение, говорит прежде всего о деле. Скоро мы получим запасные части, отремонтируем орудия, но нет дорог. К батарее трудно не только подъехать, но даже подойти. Кругом воронки. В темноте опасно сделать неосторожный шаг. Воронки надо засыпать.

— Засыпем, засыпем! — кричат батарейцы.

Бекетов тоже произносит несколько слов. Ему кажется, что выступление командира было слишком сухим. Бекетов добр и сердечен, но ему всегда хочется все и всем объяснять. Он вспоминает погибших и призывает мстить за них. Дорогу, которую мы начнем сегодня строить, комиссар предлагает назвать дорогой мести, дорогой к победе. С таких маленьких участков войны и начнется широкий победоносный путь в логово фашизма, в Берлин. Да, осенью 1941 года в котловане на оружейной позиции правофланговой батареи на берегу Баренцева моря наш комиссар Бекетов прочувствованно и уверенно говорил о грядущей победе и о пути на Берлин. И мы ни минуты не сомневались, что так и будет.

Наш гость оказался известным композитором Дунаевским. Позже, можно сказать, мы стали модными на флоте. Нас нередко навещали писатели, артисты, композиторы. Но Дунаевский был первым гостем из далекой столицы! Он много рассказывал о военной Москве. Даже там слышали о космачевской батарее. Нас знают, о нашей жизни пишут. А мы считали себя самыми несчастными людьми на фронте, вынужденными сидеть без дела под бомбежкой и артобстрелом...

Можно представить себе состояние духа батарейцев, приступивших после этого разговора к работе в котловане. Без приказов и уговоров не разгибались всю ночь, понимая, сколь ценно для нас это сумеречное время. Днем можно не торопиться, чтобы не заметили на том берегу, а ночью, хотя и условной ночью, мы не жалеем сил.

Я заметил внезапно, что на позиции первого орудия, разбитого еще 28 июня, замешательство. Все сгрудились над воронкой, где раньше была землянка оружейного расчета. Подошли туда и мы с Бекетовым. Ивашев со дна воронки протягивал вверх чью-то оторванную руку. В стороне стоял испуганный Шалагин. Он узнал в страшной находке руку Корчагина.

Иван Морозов осторожно взял у Ивашева руку Корчагина, положил ее на край воронки и сказал:

— Все, что найдем, складывать здесь. Завтра похороним, как положено. Правильно, товарищ комиссар?

Бекетов подтвердил. Работа возобновилась.

Мы подошли к Шалагину. Бекетов заговорил с ним.

Шалагин сказал, что часто просыпается от того, что слышит крик: «Ну, Колька, черт, айда на тренировку». Откроет глаза, вскочит — никого.

— Хочешь, мы тебя отправим на отдых, Николай Алексеевич? — предложил Бекетов. — До Няндомы недалеко, дочку посмотришь и вернешься на батарею.



— Нет. Побьем фашистов, тогда и поеду...

А расчистить воронку и похоронить останки погибших краснофлотцев мы обязаны были давно. Иван Морозов преподавал нам хороший урок.

## **В ПОЛЯРНОМ**

Больше года я не отходил от батареи дальше, чем до тылового городка. Впрочем, неверно. Я забыл про поход на лыжах на выручку Годи еву в Титовку. Теперь там немцы.

Из Полярного пришла радиограмма о присвоении Космачеву звания капитана, Бекетову — старшего политрука, мне и Роднянскому — старшего лейтенанта, Годиеву — лейтенанта. Кроме того, указом Президиума Верховного Совета СССР многие из нас награждены боевыми орденами. Награждены Роднянский, Рачков, Саша Покатаев, Иван Морозов. Космачеву, Бекетову, Годиеву и мне предстоит получить орден Красного Знамени.

Космачев, Годиев и другие батарейцы в середине сентября побывали в Полярном. И вот наконец я тоже в пути. Или я отвык от людей и от всего мира за этот год, или все действительно изменилось? Кажется, что и дорога не та, и люди стали другие. Слишком много людей. Так много у нас собирается редко, разве что в котловане на том памятном собрании...

Из Мотовского залива мы уходили, когда стемнело. В гавани хозяйничали теперь не пограничники, а наши флотские пехотинцы. В основном это добровольцы из корабельных экипажей. Что-то роют, что-то строят. Рыбачий становится серьезным опорным пунктом, выдвинутым впереди всего фронта, хотя все подходы к нему под огнем. Даже здесь знают о войне больше, чем у нас, на берегу Маттвиуоно. Не зря мы волновались и ждали парашютного десанта. Гитлеровцы, оказывается, давно готовят десант на наши полуострова. Готовят тщательно, солидно. Но после ударов, полученных на других участках фронта на Севере, пока не решаются высадить своих головорезов. Здесь, на Севере, они думали продвигаться так же, как и на Украине и в Белоруссии. На Мурманск были брошены сильные, хорошо подготовленные горные егерские дивизии. Но 14-я армия и части Северного флота в тесном взаимодействии с авиацией отбили одно наступление за другим. Сорвался молниеносный удар. Захватить с ходу Мурманск не удалось. Теперь противник рвется к побережью Кольского залива. Наши флот и армия нанесли несколько контрударов, высадив десанты. Моряки отбивают жестокие штурмы на реке Западная Лица. Это совсем рядом с нами. Немцам все же удалось захватить Титовку, отрезать полуострова с суши и выйти к железной дороге, соединяющей Заполярье с тылом. Но на этом они, кажется, выдохлись. Во всяком случае в общем масштабе событий наши неудачи на Севере ничтожны. Враг не достиг главного,

не смог лишить советскую державу выхода в северные моря и во внешний мир. Значит, правый фланг фронта выстоял! А на Рыбачьем, на одном из участков хребта, есть даже пограничный столб и возле него окоп снайперов. Это был, наверное, единственный пункт, если не считать полуострова Ханко на Балтике, где в то время еще держался на первоначальном рубеже осажденный героический гарнизон. Пограничный столб являлся для нас своеобразным символом стойкости до конца войны.

Столько рассказов о героизме одиночек и целых гарнизонов услышал я на пути в Полярный, что стало обидно, почему не знают об этом на нашей батарее. Как нужны сейчас моим товарищам такие добрые примеры!

Но это — одна сторона жизни. Есть и другая: когда идешь знакомым путем по Мотовскому заливу и с берега, который еще вчера был нашим, по тебе бьют тяжелые орудия, пакостно становится на сердце. Транспорт до отказа загружен ранеными, с берега к нему тянутся щупальца вражеского прожектора. «У них есть, а у нас на батарее все еще нет прожекторов», — с завистью и досадой подумал я. Сколько мы ни просили, пока не дают, хотя имеется командир прожекторного взвода и соответствующий штат... Немцы бросили несколько фугасов. Перелет, недолет, вилка. Сейчас перейдут на поражение. Но капитан не впервые проводит свой транспорт под обстрелом. Он научился рассуждать за вражеских артиллеристов и вовремя уклоняется от поражающих снарядов. Плохо, небрежно бьют гитлеровцы. Так ведут огонь только самоуверенные, самовлюбленные типы, считающие, что победа уже у них в кармане. Попробовали бы они повоевать в нашем положении. Посмотрели бы мы тогда на их «доблесть»... Эта мысль немного ободрила меня, доставила профессиональное удовлетворение.

В Полярном я по привычке поглядывал на небо и ежился при звуках неожиданных артиллерийских выстрелов, пока не усвоил, что здесь можно ходить без опаски. Город бомбили лишь в первые дни войны. Наши создали такую надежную защиту, что ни одному бомбардировщику не удавалось прорваться к Полярному. А артиллерийские выстрелы имели совсем иное значение.

Еще осенью 1941 г. на Севере родился своеобразный обычай: каждая подводная лодка, возвращаясь с моря, возвещала выстрелами о числе потопленных фашистских кораблей. Катера салютовали очередь из пулемета. Полярный становился истинно флотской столицей.

У всех на устах имена героев войны. Сержант Василий Кисляков держал оборону один против ста гитлеровцев. И выдержал. Ему присвоили звание Героя Советского Союза. Летчик Борис Сафонов, подводники Гаджиев, Стариков, Лунин, Фисанович, Кошшкий, Котельников тоже удостоены этой высочайшей награды. О походах подводников рассказывают сдержанно, но многозначительно. Я понимаю, что все это большая тайна, и горжусь, что рядом с их именами называют и наших батарейцев. Оказывается, подводники заходят

и в Петсамо. Это они вместе с летчиками добывают сведения о том, что творится в порту. Читая на батарее разведсводки, я и не представлял, какого великого героизма стоит в них каждая строка.

Хожу и глазею на все, как дикарь с другой планеты. Отвык от домов, от гражданской одежды, и особенно от женских лиц. Девушки смотрят на нас с почтением. Лестно слышать вслед шепот: «Космачевцы»...

Максим сильно изменился за это время, постарел. Трое мальчишек вместе с женой там, у нашей матери, и я понимаю, что он все время мыслями за линией фронта. Живы ли они? Об отце дошел худой слух, будто весь экипаж землечерпательного каравана, работавшего под Кричевом, расстрелян фашистами. Не знаю, правда это или ложь, мне трудно говорить об этом с Максимом. Он с утра до ночи занят — его выбрали председателем исполкома местного Совета. Каждый из нас, наверное, полон воспоминаний, дорогих и мучительных, хочется с кем-то поделиться, кому-то излить душу, но некому. Не принято между братьями рассусоливать о таких вещах.

Ордена нам вручали торжественно в комендатуре МУРа, устроили даже обильный ужин со всем, что для такого ужина положено — благословил на это сам комендант. Я привык в училище к сухому закону, выпивал редко, а уж на полуострове всячески себя сдерживал, должность такая старпомовская. Все на этом вечере было странно для молодого человека, который уже видел и кровь, и смерть, успел огрубеть и только в эти часы оттаял, почувствовал дикую усталость.

Чья-то сильная рука потянула меня в сторону, строгий голос приказал немедленно идти спать. Я добрался до квартиры Максима и быстро заснул в настоящей постели — завтра сяду на пароход и вернусь на свои полуострова.

На море поднялся шторм, В порту сказали, что пароход в этот день на Рыбачий не выпустят. Значит, придется болтаться тут до следующего утра. А делать в маленьком военном городке нечего, все днем либо заняты по службе, либо отсыпаются после ночных вахт.

Только к вечеру я вспомнил про письмо Годиева к его Ульке. Надо найти какую-то Галину, через которую я должен передать это письмо, поскольку ревнивый горец не доверил мне встретиться с Улькой лично.

Галина работала в секторе партийного учета политотдела и жила неподалеку от штаба. Письмо она вскрыла сама, сказав, что Улька настолько ей близка, что не обидится на такое любопытство. «Хорошая девушка», — подумал я о ней и, как бывает в таком возрасте, встреченный ею по-доброму, стал рассказывать Галине про себя. Она многое знала обо мне, меня это поразило, хотя все объяснялось просто: в политотделе находятся наши документы. Но она умела еще и слушать.

Я люблю вспоминать свое родное село, свое детство, оно всегда возникает передо мной живым и ярким, особенно, если есть человек, которому интересно мои воспоминания слушать. А в тот год, когда полчища врага стали разрушать самое дорогое, что было в нашей жизни, в тот год я только и жил памятью о своей родине, о прожитом и тревогой о судьбе близких. Все давнее стало дороже.

Мы жили трудно и голодно, как и все многосемейные на селе, разутые и раздетые, никогда досыта не евшие даже хлеба на нашей хлебной Украине. Но не об этой трудной жизни рассказывал я нежданно встреченной девушке, не жалобил ее. Я вспоминал красоты родного края, романтические проказы, буйную мальчишескую дружбу. Вот мчусь я, перемахнув через перелаз, за село, на встречу с другом Степкой Федяком. Бьют в лицо теплые потоки пахучего воздуха, только в поле он так пахнет — спелой рожью. Там, у высокой старой вербы, молнией расщепленной до корней, наше заветное место встречи. Даже взрослые ночью обходили это место стороной. Говорили, будто из дупла в землю ведет дыра, и ночью оттуда вылезают всякие злыдни. Мы поспорили, кто первый придет к вербе и в темноте осмелится дожидаться друга... И страшно, и хочется добраться первым. Кто-то пересек мне дорогу, вцепился в рубашку, словно и правда вылез из дупла черт, — мы покатались кубарем по пыльной дороге. Я перекрестился, а Степка меня высмеял. Он был сознательнее, в бога не верил и все знал про сельских большевиков. Степка сказал, что уже побывал у вербы. Побывал и не дождался?! Струсил?.. Нет, не струсил, но есть дело поважнее, чем детская забава.

— Где твой брат Максим, знаешь?

— Гуляет.

— То-то — гуляет. Не гуляет, а в тюрьме он. Вот где.

— Не бреши, у нас и тюрьмы нет.

— Дурак, мой брат тоже в тюрьме. Куркуль проклятый, Басок, поймал обоих и запер в амбар. Обманул. Сначала вежливо, за руку поздоровался, а потом цап — и говорит: «Вы, сукины сыны, мои гарбузы порезали, марш за мной». Ей-ей, сам слышал. А в амбаре он их бил...

Степка сказал, что точно знает: скоро бедняки да коммунисты всех куркулей перебьют, но пока надо братьев освободить, а Баска поджарить. Как дед Булька поджарил пивня...

Мы подобралась к амбару и высвободили наших братанов. Потом уселись в крапиве и стали подстергать Баска. Целыми днями просиживали в крапиве, голодные, грязные, все тело в волдырях, даже на лице волдыри, но Баска все же подстергли, заперли его в этой им придуманной тюрьме и подпалили амбар.

Это было первое в жизни чувство ненависти и мести. Он выжил тогда, этот Басок, но мы мучились виною: казалось, все уж знают, что мы поджигатели... Отец смолчал, будто и не прознал про нашу вину. Он больше всего не щадил за трусость: главное — не трусить, не бросать товарища в беде.

Помнится, накормили нас в воскресный день вкусным, как никогда, обедом, наверное, был большой праздник. Отец скупно улыбнулся, подошел ко мне, щелкнул пальцем по тугому животу: «Ну как, вошь на пузе можно убить? То-то, молодец, натоптал до отвала. А вот Ваня в поле голодный». Значит, надо бежать далеко, за много верст к Ване, снести обед, а то, выходит, сам поел, а про брата забыл. Степка — верный спутник, вдвоем всегда легче. По дороге подхватываем пятилетнего Петю, младшего братишку, пусть привыкает. Мчимся в степь, кувыркаемся в ручье, бьем лягушек, ловим пиявок, пьем воду из родников, спохватываемся, когда солнце уже клонится к горизонту и, до Вани добираемся лишь к вечеру с остывшим обедом, черные от грязи. А мы и рады, что домой возвращаться поздно. Будем ночевать у костра! Но Ваня гонит нас домой, он старше и уже знает, что будет сильный дождь, большая гроза. Дождь пошел с градом, крупным, больно стегающим по телу, по голове. Вся земля, как зимой, усыпана льдом, такого я никогда больше не видывал. Тут я почувствовал себя старшим — хоть разница между мной и Петькой невелика, а все ж малолеток он. Тяну его на себе, спешу перебраться через мост над яром, а там уж не ручей, а целый поток, река. Мост скрипит, его сносит, едва проскочили — поток сорвал этот мост и разнес в щепы. А мы без сил, заоченелые, будто скованные цепями. У самого яра выручил нас отец. Живые, целые. Но отец строг: «Где Степка?..» Степку я потерял, отстал он во время бури. Отец сказал: «Нехорошо. А я и ему ботинки принес». И мы тут же пошли искать Степку, потому что нельзя было вернуться в село без него.

Потом отец уехал на заработки, стал плавать на Днепре. Мать одна вытягивала нас, и казалось, ничто в нашей жизни никогда не изменится. Но вот пришел двадцать девятый год. Баска раскулачили. А мы первые вступили в колхоз — и моя мать, и Степкина. Соседи ругали нас, смеялись над матерью, угрожали ей. А она, как сдвинулась со старого, так и пошла: и в ликбез, и в сельский актив, даже иконы из хаты вынесла. Все было тогда в колхозе: и хлеб, и картофель, и свекла. Но пришел голодный тридцать третий год, страшный и все перепутавший. В этот год от голода погиб и лучший друг моего детства Степа Федак...

Галя все слушала и слушала, глядя на меня большими глазами. Я был счастлив, что есть на свете душа, понимающая мое состояние. Ведь то, о чем я рассказывал, это и есть родина. И как бы ни был силен враг, мы не можем не победить, мы должны изменить ход войны и вернуть нашу мирную жизнь...

На другой день я забежал к Гале на работу проститься. Не успели мы обменяться и двумя фразами, как зашел ее начальник. Он сурово приказал следовать за ним в кабинет.



— Вы давно знаете Галю, старший лейтенант?

— Вчера познакомился, — отвечал я, обомлев.

— Только вчера, и успел переночевать!

Я вскипел: что за чушь, что за сплетни, как же может их повторять такой крупный и серьезный начальник?

— Ну ладно. Только не обижай девушку, — смягчился он и стал мне объяснять, кто такая Галя.

Она воспитанница части, осталась без родителей. Тут ее вырастили, выучили и теперь все оберегают девушку от обид. Оберегают, а ведь как обидели, как посмели бросить на нее такую тень!

Странно, что люди позволяют себе вмешиваться в такие сложные и тонкие отношения. Если человек старше тебя по должности или воинскому званию, значит ли это, что он может распоряжаться и твоей личной жизнью?.. А сам я, став командиром, разве не вмешивался подчас не слишком деликатно в сердечные смуты матросов, которые и по возрасту и по жизненному опыту старше меня. Вот же давал я советы пулеметчику Травчуку, нисколько не разбираясь в том, как надо строить семью и какие неожиданные тут могут быть осложнения. Да, но Травчук сам делился со мной своими сомнениями, сам посвятил в личные переживания, возможно, ему казалось, что я способен чем-то помочь. Командир, конечно, не может быть равнодушным к душевным переживаниям подчиненных, на то он и командир, чтобы уметь вовремя прийти на помощь. Но вот на себе я почувствовал всю опасность грубой опеки и непрошеной заботы. Выходило теперь так: ничего дурного не сделав, я ослабил девушку.

Вернувшись на полуострова, я рассказал Годиеву обо всем. Георгий весь сжался и простонал: «Ох, Улька, Улька...» Я сказал, что никакой Ульки не видел. Неужели Галя это и есть Улька?..

Ревнивый горец ничего мне не ответил. Больше он к этому разговору не возвращался никогда.

## **ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ**

Началась полярная ночь, и все наши переживания, навеянные поездками в Полярное, получением орденов, новыми званиями, отступили на второй план. Корабли противника снова пошли в Петсамо, пошли мимо нашей батареи, груженные боеприпасами, а может быть, и войсками. А мы ничего не могли сделать.

Батарея построена. Два орудия с замененными стволами установлены на основания. На старой позиции пока осталось одно орудие. Землянки построили хорошие, добротные, зима нам не страшна. Можно забраться на зиму в землянку, как медведь в берлогу, и там дожидаться наступления полярного дня. Кухня тоже хорошая, повар старается на совесть, даже по сто граммов наркомовских выдают. И бомбят реже, и обстрелов меньше. Но нет боя, и это для нас настоящая трагедия.

Как можем мы молчать, когда мимо идут вражеские корабли, когда противник лезет к Москве, когда на родной земле льются реки крови. А нам приказано молчать. Быть «на всякий случай», на случай отражения морского десанта. Батарея есть, но нет прожекторов. Кто-то забыл про полярную ночь и снабдил нас одним единственным маломощным прожектором, который разрешено включать только при высадке десанта. Если разобьют прожектор, мы не сможем освещать побережье при чрезвычайных обстоятельствах.

На все наши требования один ответ: подкреплений не ждите, время тяжелое, надо перетерпеть. Каждый приезжающий из высшего штаба представитель что-нибудь да обещает: обещают и прожектора, и зенитки, обещают даже добиться приказа, разрешающего вести огонь.

Был у нас батальонный комиссар Морозов из политотдела МУРа, очень хороший, смелый человек. Постоянно находясь среди бойцов, он хорошо почувствовал, как у нас идет война. Когда Морозов прибыл, на наш командный пункт навалились 24 «юнкерса», они высматривали, но не нашли хорошо замаскированную цель и сбросили бомбы наугад. С одного из «юнкерсов» меня с Морозовым обстреляли пулеметным огнем.

— Так вы же просто беззащитны, — всполошился батальонный комиссар, — вам зенитки нужны. Надо ехать в Полярный! Я им все расскажу. Я на своей шкуре все испытал!

Не сомневаюсь, что в Полярном Морозов красочно обрисовал наше положение, но помощи мы так и не получили. Страна переживала тогда труднейший период. А наша батарея — песчинка на гигантском фронте. Дыр было столько, что всего сразу не заткнешь, ресурсов мало. Их накапливали, наращивали на главных направлениях...

Этим можно утешать себя спустя многие годы, трезво оценив события с позиций осведомленности в истории минувшего. Тогда мы не могли рассуждать

широко и объективно. Мы страдали, сдерживали свои страсти и закаляли нервы в ожидании лучших времен.

Космачева в октябре повысили в должности: он стал командиром дивизиона. Само по себе такое назначение было хорошим признаком. Раз дивизион, значит, рядом будут, пускай не сейчас, другие батареи, значит, повоюем как следует. Меня неожиданно назначили командиром батареи. Неожиданно, потому что я еще мало прослужил и мало повоевал. До этого казалось, что мне не доверяют самостоятельного командования. Когда Космачев уезжал с батареи, из штаба присылали обеспечивающего командира, опекуна. А теперь вдруг — полная самостоятельность. Только бы дали воевать! Роднянский стал моим помощником. Но, кажется, не весьма охотно. Он очень привык к своему взводу огневиков. Но туда прислали нового командира взвода, лейтенанта Владимира Игнатенко, веселого, энергичного человека.

Тяжело становиться командиром в первую военную полярную ночь. Прошлую, мирную ночь я провел трудно и нервно. Теперь же мы каждый час ждали десанта, диверсионных вылазок. Я остро почувствовал разницу между ответственностью помощника и командира. Всю ночь надо поверять караулы, обходить землянки, а я по-прежнему боюсь проспать, да к тому же не совсем уверен в бдительности товарищей. Роднянский угрюм и мрачен: полярная ночь подавляет его. А я терзаю дежурных. Вскликаю по нескольку раз в ночь, хотя понимаю, что нужно быть сдержаннее. Матросы ведут себя совсем иначе, чем в прошлом году. К караулам, вахтам относятся очень серьезно. Нельзя допустить, чтобы притупилась их настороженность. Нужны какие-то активные действия. А их нет.

Я уже упоминал, что одно из орудий оставалось на старой позиции. По существу, возникли две батареи, которыми надо управлять. Мы долго бомбили начальство просьбами перевести на новую позицию и это, третье, орудие. Упорство помогло, получили «добро».

Но мы решили не просто переместить орудие с места на место. Это был отличный повод хоть немного повоевать с врагом. Срочно собрал командиров, сообщил им радостную весть, вместе продумали тактический маневр, связанный с перестановкой орудия. Прежде чем перетаскивать на новое место, нужно продемонстрировать орудие противнику на старой позиции, произведя огневой налет на Ристаниеми. Пусть враг считает, что заговорившая вдруг батарея стоит на прежней позиции. Роднянский высказал опасение, что на нас сразу навалятся несколькими батареями и мы потеряем орудие. Опасения резонные. Чтобы этого не случилось, решили начать огневой налет вечером. Противник не успеет засветло изготавиться к ответному огню, а ночью стрелять не будет. Нам только того и надо, за ночь перетащим орудие на новую позицию. Но это еще не все. Лейтенанту Игнатенко поручили сделать макет орудия для установки на старой позиции.

Распоряжения отданы. Игнатенко проверил готовность орудийного расчета к стрельбе и занялся макетом. Лейтенант Годиев, ведающий всей электромеханической частью, готовил к 16.00 трактор и сани. Старший лейтенант Роднянский отвечал за бригаду слесарей и такелажников. Плотники ремонтировали козлы. Окончив стрельбу, поднимем орудие талями, без разборки. Важно, чтобы все по сигналу командира батареи шло одно за другим. В 16.30 — готовность огня. В добрый путь, за дело!

Этим орудием командовал Михаил Пасечник, наводчиком был краснофлотец Афанасий Стульба, оба прославились позже в боях, которые наша батарея вела с морским противником и фашистской артиллерией. Сегодня командир орудия и наводчик именинники, им завидует вся батарея. Остальные расчеты тоже не останутся без дела, для тренировки я приказал им проводить условную немую стрельбу.

Наша батарея вела огонь не первый раз. Длительный перерыв, ожидание стрельб измучили людей. Когда я скомандовал: «Орудие зарядить, поставить на залп. Залп!» — на всех орудийных позициях, даже на тех, где приказано вести огонь условно, матросы закричали «ура».

— Нет дисциплины, — проворчал кто-то из командиров.

— Наоборот! Очень хорошо, что люди радуются, — возразил Бекетов. — Есть батарея. Далеко слышен ее голос. И мне, признаться, хочется кричать «ура»...

А уж мне и подавно хотелось того же: ведь это моя первая боевая стрельба как командира батареи.

На батарее противника блеснула молния, взметнулся дым. Снаряд попал в цель.

— Пять снарядов беглым!

От вспышек выстрелов красными отблесками заиграл снег.

Когда Пасечник доложил, что приготовленный для стрельбы боезапас вышел, я приказал увести личный состав в укрытие. На всякий случай: вдруг противник все же ответит.

Пасечник и его матросы в белых маскировочных халатах быстро покинули позицию. Издалека донесся разрыв последнего снаряда. Сгустившаяся темнота закрыла и берег противника, и море.

Мы подождали минут двадцать. Гитлеровцы молчат. Значит, наши расчеты верны — ночью ответного огня не будет. Отдаю команду приступить к работе.

Бойцы быстро вернулись на позиции. Люди воспрянули духом: воюем, бьем врага! Трактор Годиева уже подтащил к орудию сани и козлы. Слесари отдают установочные болты, такелажники крепят тали, все разделись, жарко. Словно в большом порту слышны выкрики: «Вира помалу, майна, вира, вира, давай быстрее, майна, быстро крепить...»

Орудие уже на санях, Годиев сам садится на трактор, он любит трактор и говорит, что это его танк. Приказываю осторожно трогать. Тяжело врезаются сани в снежный сугроб. Поезд двинулся в путь.

А лейтенант Игнатенко начинает устанавливать на старой позиции орудийный макет.

Работа шла без перерыва, без перекура: одни возились на старой, ложной позиции, другие расчищали дорогу трактору и помогали устанавливать и маскировать орудие на новом месте.

После завтрака, усталые, завалились спать. Мы уже перешли на фронтовой режим: ночью бодрствуем, в часы недолгих рассветов отсыпаемся.

Но ровно в одиннадцать раскаты сильных взрывов подняли меня на ноги. Спросил дежурного, в чем дело.

— Ничего особенного, — доложил Игнатенко. — Ответный визит. Обстреливают ложную позицию. Боюсь, не выдержит макет...

— Дело за вами, лейтенант. Надо оживить позицию, больше появляться на ней.

— Можем организовать даже танцы!

— Танцев не надо. А дорожка туда всегда должна быть протоптана. Снег тоже придется расчищать, да иногда полезно вращать стволами. Это теперь ваша забота.

Расчищать снег на ложной позиции! Легко произнести такое. А нам и без того хватает хлопот со снегом. День и ночь матросы убирают снег с боевых постов. Гонимый ураганом, сыпучий, колкий, он забирается в каждую маленькую щель, смешивается на механизмах, со смазкой, сковывает их льдом. Мороз. Руки прихватывает к металлу. Но надо чистить. В любой момент мы должны быть готовы открыть огонь.

Всю зиму свирепствовала пурга. Всю зиму мы боролись со снегом и льдом. В пургу, в лютые морозы неустанно следили за морем сигнальщики Афонина. Нет прожекторов. Невозможно осветить море. Но Глазков видит и в темноте.

— Катер! Прямо у берега катер! — закричал однажды Михаил Глазков.



Раздался сигнал боевой тревоги. Я позвонил командиру стрелкового взвода:

— Против озера Карху-Лампи катер противника. Открыть пулеметный огонь! Быстро!

Глазков доложил, что на мостике упал человек.

Катер лег против волны, пошел в море, но вдруг застопорил. Человек полз по палубе, чтобы отдать якорь. Пулеметным огнем были, видимо, повреждены моторы. На катере боялись, как бы их не снесло волной к нашему берегу.

В тот же момент над морем появился истребитель. Сделав круг над катером, он пошел к берегу, поливая свинцом снег.

По катеру открыла огонь зенитная батарея Пушного. Двумя снарядами она пустила его ко дну.

Враг прощупывает нашу оборону. Враг ищет лазейку.

Трудно проходит зима. Не все ее выдерживают. Сдали нервы у Роднянского. Жил он в землянке второго орудия. Там кто-то, дурачась, стал бросать в печку запалы от гранат. А то еще додумались: пустили по землянке ракеты...

— Зачем?

— Не знаю, — устало сказал Роднянский. — Наверно, пугают. Нервы испытывают.

От злости у меня похолодело внутри. Пошел в землянку. Опросил краснофлотцев. Молчат. Я подозревал троих, но нужно добиться признания.

— Через десять минут жду виновных на КП...

Вслед за мной на командный пункт пришел краснофлотец Барканов, высокий рыжеватый парень. Краснея, признался, что это он бросил в печку ракету и запал.

— Зачем? Барканов смутился:

— Просто так, для баловства. Испытываем нервы друг у друга. Бойцы привыкли, а вот старший лейтенант спросонья...

С удивлением я смотрел на Барканова. Хороший, дисциплинированный боец, семейный человек, не мальчишка.

— И вам не стыдно?

— Дурость... Засиделись без боя. Скорее бы уже...

Да, засиделись без боя. И трудно в этих условиях, да еще в полярную ночь, уберечь даже самых хороших людей от мрачных размышлений, от душевной подавленности. Роднянский признался, что ему стало тяжело на батарее. Он готов пойти на любой участок фронта, только бы сменить обстановку. Ну что же, я его понимал и не осуждал. Жалко расставаться с близким товарищем, но нервы имеют предел выносливости у каждого из нас.

По моему ходатайству Роднянского перевели в конце зимы на другой участок фронта. На его место прибыл командир из запасников, в прошлом инженер-судостроитель Иван Никитич Маркин.

Новый человек, деятельный, с крепкими нервами и свежими силами, внес в нашу жизнь бодрую струю. Его приход всем нам пошел на пользу, всех подстегнул. Как инженер он все время что-то придумывал, подсчитывал, предлагал.

Маркин пришел на батарею в день очередной бомбежки. Немцы в одно мгновение разбили продовольственный склад, но в домик радистов, хотя делали на него несколько заходов, попасть не смогли. Мы ко всему уже привыкли, а свежему человеку с Большой земли, видевшему, как там отбиваются от налетов, наша беспомощность показалась чудовищной.

— Что-то следует придумать, — сказал Иван Никитич. — Самолеты надо отгонять.

— Спору нет, надо! Но чем?..

Маркин взялся построить зенитные треноги из дерева, чтобы установить на них станковые пулеметы — их у нас много в стрелковом взводе. Так делают на Большой земле. Все же будет защита. Кроме того, решили создать группы стрелков по самолетам из личного оружия. Хоть и не собьют, но создадут огневую завесу. Плотный огонь помешает летчику бесчинствовать на малых высотах, подействует на его психику. Словом, пусть малый шанс на успех, но все же шанс, и его надо использовать.

Вызвали на КП командира стрелкового взвода Зыбкина. Он хороший пулеметчик. Взвод Зыбкина — самостоятельная боевая единица, нам подчинен лишь оперативно. Так что договариваться надо по-хорошему. Выложили ему все как пожелание личного состава батареи. Попросили прикрывать нас не только с моря от десантов, но и с воздуха.

— В газетах этот вопрос отражается часто. Можем прикрывать, — выслушав нас, сказал Зыбкин.

Иван Никитич выделил в распоряжение Зыбкина людей, строительный материал, взялся помочь своими расчетами и советами. Мы загорелись новой идеей и наметили сногшибательные планы мощной зенитной обороны. 48 станковых пулеметов — это море огня. Все пулеметы — в зенит, батарейные тоже. Расставим их вокруг каждого орудия, выроем для пулеметов глубокие, прочные котлованы. А под командой Годиева создадим еще взвод охотников за самолетами — стрелков из личного оружия.

Так под покровом ночи мы готовились к встрече полярного дня, к предстоящим боям. Провели рекогносцировку местности. Выбрали места для пулеметных точек. Участвовать в этом деле вызвались все: надоели безнаказанные бомбежки и наше вынужденное бездействие. Ночи стали светлее. Настает и день, но до мая еще не кончится полностью полярная ночь. Значит, есть опасность ночных десантов. Зыбкий сказал, что, пока не настанет полярный день, не даст для зенитной обороны ни одного пулемета.

— Главное, — твердит он, — берег, главное — оборона от внезапного десанта.

Зыбкий, конечно, прав. Осуществление нашего плана отложили до конца мая. Только тогда можно будет перенести пулеметы на новую огневую позицию.

## **ВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА**

Май 1942 года. Уже 16-е, а зима в разгаре. Метели припорошивают посеревшие сугробы новым снежком. Кругом сверкающая белизна.

Послеобеденный час. До темноты можно отдохнуть, почитать газеты. В светлое время мы не ждем врага. Поэтому доклад вахтенного сигнальщика Глазкова кажется полной неожиданностью:

— Пеленг двести шестьдесят девять градусов, дальность сто сорок кабельтовых, курс сто тридцать — транспорт и четыре катера.

Батарея изготовилась к бою. Тотчас следует новый доклад:

— Пеленг двести, дальность шестьдесят, высота три тысячи, курсом на батарею девять «юнkersов».

— В чем дело? Что заставило их пойти днем? — тревожно спрашивает Бекетов.

— А черт их знает! Устроили внезапную проверку нашей готовности. По всем правилам — с самолетами и эскортом.

«Юнкерсы» кружат над старой позицией. Метель занесла там все стежидорожки вместе с макетами. Новой позиции немцы, очевидно, еще не знают. Да и не могут знать, мы не сделали с нее ни одного выстрела.

Транспорт ползет медленно. Четыре катера — невелико прикрытие. Думают, наверное, что мы еще не очухались от прошлогоднего разгрома. Решаем открыть огонь с предельной дистанции.

Батарея дала залп, когда транспорт подошел на 80 кабельтовых.

В боевой рубке КП вылетели стекла — вот это залп!

«Юнкерсы» тотчас пошли в пике, но на старую позицию. Значит, нашего первого залпа с новой позиции фашистские летчики не засекли.

Сразу после залпа для маскировки дали орудиям угол снижения. Фашистские бомбы рвутся в стороне.

Дальномерщики Пивоварова доложили о результатах первого залпа: накрытие!

И снова наши залпы гремят над заливом.

Теперь немецкие летчики уже разобрались, откуда мы ведем огонь, и ринулись в атаку на новую позицию, поливая ее из авиационных пушек и пулеметов. Бомб не бросали — все израсходовали на ложную позицию.

Батарея Пушного и наша счетверенная зенитная установка бьют по самолетам. Один загорелся и повернул на свою территорию.

Батареи противника открыли ответный огонь.

Катера ставят плотную дымовую завесу. Они легли на обратный курс — навстречу транспорту. Над транспортом поднимаются пламя, дым.

— Попадание! — радостно докладывает Пивоваров.

— Горит! — кричит сигнальщик.

Но катера быстро закрывают транспорт сплошным белым дымом и, уменьшив ход, идут на расхождение. Командую:

— Обстрел площади!

Батарея дает шесть залпов. Цели не наблюдаем. Катера находятся за пределом дальности нашей стрельбы. Самолеты уходят на аэродром. Приказываю боевым постам искать транспорт.

Транспорта не видно — даже высокие горы закрыты дымом.

— Катера сбросили морские дымовые шашки, — докладывает сигнальщик.

По курсу движения катеров черными точками легли дымовые шашки, из них подымается к небу кудрявый белый дым.

— У гады, додумались!

Вход в залив чист. Значит, транспорту не пройти. Дымовая завеса медленно уходит на запад, он прячется где-то за ней.

— Наверное, лег на обратный курс, — сокрушается Афонин.

— Гасит пожар, — ворчит Трегубов.

Все огорчены, каждый вставляет свое слово.

— Жаль, очень жаль, — гудит мне в ухо Бекетов.

— Конечно, жаль, но что поделаешь?

— Еще одно попадание, и он не ушел бы...

— Задача выполнена — порт блокируется.

— Уничтожать, понимаешь, уничтожать надо, а не повреждать. Блокировать уничтожением!

Мне и без замечаний Бекетова тошно. Как во сне, даже опомниться не успел, прошел бой. До боли обидно, но дальше 80 кабельтовых мы не достаем.

Чувствую, бойцы недовольны. Угрюмо смотрят они на белую муть дымовой завесы и тихо спорят о том, прав ли я, что открыл огонь с предельной дистанции. Одни считали, поторопился. Но можно ли пускать противника дальше? Куда? Прямо в порт? От предела до входа в порт всего 12 кабельтовых. Это не более пятисеми минут хода при самой малой скорости. А что такое пять минут при плохой видимости, да если еще цель закрыта дымом?

Спорят не только матросы.

— Не рано ли открыл огонь? — спрашивает Бекетов.

— Думаю, нет. Бить надо с предела. — Объясняю, почему надо открывать огонь с предельной дистанции.



Комиссар считает, что следует немедленно критически разобрать ход боя. Ведь это только начало, первый бой. Очевидно, прощупывают нашу тактику и наши возможности.

Через полчаса дымовая завеса, все время поддерживаемая катерами, рассеялась. Мы не обнаружили на море ни катеров, ни транспорта. Вероятно, они зашли в залив Пеуравуоно. Объявляю готовность № 2 и приказываю Маркину вызвать на командный пункт всех командиров.

Прибывающие на совещание подавлены. Только Годиев, сверкая огромными пылающими глазами, шумно здоровается и темпераментно приговаривает:

— Влепили гаду! Жаль, что сбежал. Надо было ввести в дело моих стрелков!

— Ну конечно. Только потому и не добились победы, — иронически замечает Игнатенко.

— Почему не добились? — горячится Годиев. — Будет победа. И сегодня победа! Транспорт не прошел.

— Не велика победа, — вмешивается наш врач, капитан медицинской службы Попов.

— Вы-то, медики, что в этом понимаете?! Только клизмы умеете ставить!..

Попов и Годиев переругиваются, их разнимает Бекетов.

Этот спор немного разрядил атмосферу, ослабил напряжение.

Маркин доложил, что все собрались.

— Продолжим уже начатый товарищами Поповым и Годиевым спор, — предложил я. — Думаю, товарищ Попов прав. Невелика сегодня наша победа. Враг ушел. Одного попадания оказалось мало, чтобы его потопить, а большего мы не добились. Враг, правда, в порт не прошел. Но это не должно нас успокаивать. Давайте разберемся в наших действиях. Подумаем, что надо сделать для повышения эффективности артиллерийского огня, для прикрытия батареи с воздуха. Высказывайтесь прямо, без стеснения. Замечу только, боя мы сегодня не ждали. Не предполагали, что враг пойдет не ночью, а днем. Думаю, это не случайно.

С этим согласны все. Похоже, противник прощупывает нас. Мы оказались свидетелями разведывательной вылазки. Было мало авиации, действовала она слабо.

Четыре катера могли при желании закрыть вход в залив плотной завесой, но не сделали этого. По всему чувствуется: следующий бой будет тяжелее. Из сегодняшнего эпизода противник сделает для себя выводы.

Разбор идет непринужденно. Говорят о действиях личного состава, высказывают свои взгляды. В конце концов все сводится к главному предмету спора: стоит ли открывать огонь с предельной дистанции?

Игнатенко настаивает, что надо стрелять с предела, но более точно готовить данные для первого залпа. А значит, предъявлять больше требований к дальномерщикам.

Маркин, как помощник командира, подсказывает:

— И более точно наводить!

Командир огневого взвода согласен с этим: более точно наводить, лучше комплектовать боезапас, стрелять без пропусков, не ошибаться в наблюдении за результатами стрельбы. Словом, Игнатенко считает, что первый залп должен быть поражающим. Маркин отмечает, что желание это хорошее, но оно не всегда осуществимо с точки зрения теории вероятности.

— Война требует поражать врага первым ударом, — вмешивается в спор комиссар Бекетов.

Я поддерживаю Игнатенко. Мы не можем отказаться от предельной дальности стрельбы, тем более, эта дальность известна противнику. Условия боя диктует нам он. Единственное, что есть в нашем распоряжении, — внезапность поражения, зависящая от точности огня. Наша задача, наш девиз — в кратчайший срок нанести поражение. Будут бомбить, обстреливать, мешать дымовыми завесами. Но и под огнем, и под бомбами мы должны делать свое дело — топить противника.

И тут все обращаются к Зыбкину: когда перенесем пулеметы? Главное, что нужно сейчас для нормальных действий батареи, — прикрыть ее во время боя с воздуха.

— Я уже над этим думал, — сказал Зыбкий. — В течение суток у нас еще часа два полной тьмы. Этого достаточно, чтобы противник мог незаметно подойти к берегу и высадиться.

— Значит, нельзя перенести пулеметы, товарищ Зыбкий?

— Почему нельзя? Можно. Только не перенести. Переносить. Туда и обратно. Начинает светать — несем на зенитную позицию. Темнеет — несем обратно. Солдаты сегодня спрашивали, почему мы не стреляли по самолетам. Я ответил,

что бой неожиданный. Никто не предполагал, что они попрут днем. А надо было об этом подумать! Так что будем перекосить.

Молодец Зыбкий, все решил сразу и смело. Трудно перетаскивать туда и обратно станковые пулеметы. Но другого выхода нет. Тем более, это ненадолго. Скоро наступит полный полярный день. Тогда будем держать станковые пулеметы на новых позициях круглые сутки.

Тут же на разборе намечаем, что надо немедленно сделать для защиты батареи от самолетов. Годиеву и его стрелкам приказано с рассветом занять зенитную позицию и потренироваться. Утром надо расставить по местам треноги, подготовить боезапас, набить пулеметные ленты, перенести станковые пулеметы на дневную позицию. Маркин, как помощник командира батареи, подготовит и проведет батарейное учение по отражению нападения с воздуха. А. Зыбкину внушаю, что его святое дело — оборона побережья, защита от нападения с моря. Перенес на новую позицию пулеметы, оставил там своих пулеметчиков — и все. На этом забота Зыбкина о противовоздушной обороне кончается. Главное — не проморгать десант.

Устанавливаем сигнал отражения десанта. Командный пункт Зыбкина остается на прежнем месте, наблюдатели за морем тоже. Уходят только пулеметчики. Надо отработать порядок передвижения личного состава в случае обороны побережья, подготовить маршруты движения. Ведь все может случиться под артиллерийским обстрелом и бомбежкой. Люди за зиму засиделись, отвыкли бегать, их следует расшевелить.

— Есть, понял, будет сделано, — уверенно отвечает вышколенный нелегкой пехотинской службой Зыбкий.

Я знаю, он выполнит все точно.

Много дела у Маркина. Кроме учения с зенитчиками ему предстоит заняться дальномерщиками Пивоварова, усилить тренировки в замеры дальности. Учеба, учеба и еще раз учеба. И в бою, и между боями. Сигнальщиков надо научить не только обнаруживать корабли, но и определять их замысел по боевому порядку. Огневикам необходимо усилить маскировку. Нельзя допускать, чтобы стволы орудий зря торчали над местностью. Угол возвышения они должны давать только по команде командира батареи, зная, что за ней сразу последует другая команда: «Поставить на залп!» Потому и наводчикам требуется соответственно отработать свои действия. Все должно следовать одно за другим как по маслу. Словом, стрелкам, огневикам, взводу управления, санитарной службе — всем на батарее нужно подтянуться, подобраться, подготовить себя к молниеносной реакции в предстоящих тяжелых боях.

Но как быть с артиллерией противника? Как от нее защититься, не прерывая боя с кораблями? Мы же не можем одновременно топить корабли и вести контрбатарейную борьбу!

Комиссар берет на себя переговоры с соседней армейской батареей Кокорева. Попросим его помогать во время боя, подавляя артиллерию противника.

Такой урок извлекли мы из первой после полярной ночи проверки, устроенной врагом.

Через два часа после разбора снова полностью рас : светло. Батарейцы взялись за дело. Зыбкин, искусно маскируя своих пулеметчиков, передислоцировал их вместе с пулеметами на зенитную позицию. Восход солнца батарея встретила, ошетинясь 48 пулеметами, обращенными в безоблачное небо.

— Будет чем встретить фашистских летчиков, — радуются артиллеристы.

Идет день за днем. Каждый час в учебе, в тренировке. Ждем противника. А его кораблей все нет. Уже конец мая. Солнце светит круглые сутки. Осел и посерел снег . Пройдет снежный заряд, ненадолго забелеет все вокруг. Но солнце быстро сгоняет зиму.

День 26 мая был особенно богат снежными зарядами. Пелена за пеленой напоздали с северо-запада на полуостров. Вахтенные сигнальщики то и дело отмечали в «Журнале наблюдения» перемену видимости.

Солнце поднималось к зениту. Все, кроме вахтенных, легли отдыхать.

— Десант! — услышал я сквозь сон голос Михаила Трегубова.

Бросился в боевую рубку. Продолжительный телефонный звонок — наш сигнал боевой тревоги — разнесся по батарее, поднял всех на ноги.

— Где десант? — Я подбежал к командирской стереотрубе.

Трегубов, не отрываясь от своей стереотрубы, шептал:

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать... — Сколько насчитал?

— Товарищ командир! Пеленг двести сорок градусов, дальность сто восемьдесят кабельтовых, курс восемьдесят градусов — семнадцать кораблей противника, вахтенный...

— Добро, вижу, — перебил я Трегубова. — Посмотрим, что за корабли.

— Три больших, наверное, транспорты, шесть средних, похоже, тральщики, восемь малых — катера.

— Думаете, это десант?

— Похоже. Столько никогда не ходило.

— Кораблей много, но это не десант.

Звоню Зыбкину:

— Идет конвой, семнадцать единиц. Предстоит хорошая работа. Учтите — это не десант.

— Понял, — ответил, как всегда, немногословный Зыбкий.

На ярко очерченном горизонте даже небольшие суда кажутся громадами. Танкер, два транспорта, шесть тральщиков и восемь сторожевых катеров. Впереди, в кильватер, сторожевые катера. За ними тральщики. Между берегом и эскортом следует караван — транспорт, танкер и транспорт. Всего 17 единиц.

Быстро передали донесение в Полярный. Возможно, помогут авиацией.

Звоню командиру армейской батареи Василию Кокореву:

— Видишь армаду?

— Вижу, вижу.

— Надо стрелять по катерам. Да, да! Тебе стрелять по катерам. Не допускать постановки дымовых завес. Меня прикрывать не надо. Пусть бьют. Главное — расстроить их боевой порядок.

— Хорошо. Сейчас выкачу орудия на прицельную наводку и буду стрелять дистанционной гранатой.

— Давай, время еще есть. Наш успех зависит от тебя, от того, как ты подавишь катера.

Батарея давно изготовилась к бою. Ждем. На дальности 100—120 кабельтовых караван замедлил ход.

— Чего-то ждут, — заметил Афонин.

— Авиации, — уверенно отозвался Трегубов. Отдаю боевое распоряжение нашим новоиспеченным зенитчикам:

— Патроны зря не жечь, стрелять только на дальности действительного огня и по пикировщикам.



Маркин настойчиво проверяет правильность подготовки данных для первого залпа. Игнатенко то и дело запрашивает у дальномерщиков дистанцию до кораблей. Чувствую, что люди волнуются.

Звонит Годиев, докладывает: к бою готов. Желаю ему успеха. Даже не видя Георгия, представляю, как горят у него глаза, в каком он азарте.

Противник начал перестраивать боевой порядок конвоя. Катера пошли строем фронта. Очевидно, попытаются поставить дымовую завесу в восемь рядов. Тральщики идут прежним строем — в кильватер, прикрывая караван с моря от возможных действий наших подводных лодок, торпедных катеров и авиации. Между тральщиками и противоположным берегом за катерами по-прежнему следуют три корабля. Головной транспорт водоизмещением свыше десяти тысяч тонн.

— Самолеты противника! — доложил Трегубов.

Вот они, черные с белыми крестами, заходят один за другим в круг над батареей.

Наша зенитная оборона молчит — высоко. Пусть врагов радует наша мнимая подавленность.

24 бомбардировщика — сила. А выше над ними и в стороне, прикрывая их, носятся «мессера».

На батарее полная тишина. Только рев моторов в воздухе.

Меня вызывает к телефону Бекетов.

— К нам прибыла тридцатисемимиллиметровая зенитная батарея. Куда поставить?

— Где она сейчас?

— На правом фланге, около первого.

— Очень хорошо. Пусть там и развертывается к бою.

Связь у нас единая, каждое мое слово слышат на всех боевых постах. Тут же сообщают радостную весть о прибытии давно ожидаемых зенитчиков.

Каждые 30 секунд Пивоваров докладывает о дальности до головного транспорта.

— Дальность девяносто пять!..

Предупреждаю Маркина, что огонь сегодня откроем с 74 кабельтовых. Маркин поражен, не поздно ли? Ведь я сам утверждал, что надо бить с предела? Но сегодня нельзя бить с предела, противник может лечь на обратный курс и уйти. Маркин согласен с этим. Ждем.

Очень медленно идут корабли. Кажется, остановилось время. А самолеты режут над головой, испытывают наше терпение. Но мы пока не подадим признаков жизни.

— Как дела, товарищ Ковбаснян? — спрашиваю по телефону старшину комендоров. Он недавно заменил Зубова, который снова стал старшиной батареи.

— Хорошо, — весело отвечает Алеша Ковбаснян, черный, как цыган, красавец, с большими карими глазами, храбрый, надежный боец.

— Дадим концерт фрицам?

— Устроим!

— Обязательно устроим, — слышу в телефон голоса командиров орудий Покатаева и Фисуна.

— До смерти развеселим, — доносится басистый голос Михаила Пасечника.

Такая переключка отвлекает. Забываешь о режущих над головой самолетах.

Позже в ожидании боя мы даже напевали...

— Дальность семьдесят шесть кабельтовых! — сообщает Пивоваров.

— Приготовиться! — предупреждаю боевые посты.

— Дальность семьдесят пять!

— Дать угол возвышения! — команду на огневую,

— Дальность семьдесят четыре с половиной!

— Поставить на залп!

— Дальность семьдесят четыре!

— Залп!

От дружного трехорудийного залпа задрожала земля.

Увидев вспышки, самолеты повернули к огневой позиции. Первый начал пикирование. Мгновенно заработали зенитные орудия, пулеметы, винтовки. Масса огня рванулась навстречу самолетам.

Первый бомбардировщик не выдержал, второпях сбросил бомбы и отвернул в сторону. В общий треск зенитного оружия врезался вой бомбовых сирен, грохот разрывов. За самолетом — черный хвост дыма, машина в пламени. Пылающим факелом она падает в море.

По сторожевым катерам открыла огонь батарея Кокорева. Один катер загорелся.

Тотчас яростно обрушилась на нашу батарею артиллерия противника. Над полуостровом стоит сплошной гул.

Сторожевые катера попытались ставить дымовую завесу, но меткие разрывы дистанционных гранат кокоревской батареи разогнали их в разные стороны.

На горящем катере взрыв, катер разлетается в щепки. Три других повернули на обратный курс. Остальные прибавили ходу и позорно бежали в залив Петсамоуоно.

221-я батарея перешла на поражение.

На четвертом залпе над головным транспортом взметнулся столб пламени, дыма, и тут же последовал сильный взрыв. Вижу, как падают мачты.

— Маркин, смотрите, смотрите! — От избытка радости я кричу: — Тонет!

Транспорт медленно погружается в воду. Но восторгаться некогда. Быстро переносу огонь на танкер. Теперь дымовую завесу пытаются ставить тральщики. Но и они не выдерживают огня кокоревской батареи и тоже ложатся на обратный курс. Танкер медленно ползет вперед. Куда ему деваться? В корму подпирает идущий сзади второй транспорт, слева тральщики, справа берег, а впереди смерть. Как в мешке. Начинает поворачивать идущее сзади судно. Танкер пытается повернуть за ним, но седьмой залп дает прямое попадание. Танкер в огне. Он похож на пылающий остров. На огневой позиции кричат «ура». Тральщики и второй транспорт к этому времени вышли за предел дальности стрельбы батареи. Вот и второй самолет противника валится в море. Огонь по батарее открыли тральщики. Но их снаряды не долетают даже до берега. Показываю Маркину на бессмысленно стреляющие тральщики:

— Полюбуйтесь, Иван Никитич! Стреляют, отойдя на безопасное расстояние. До берега не достают, но стреляют. Во имя спасения шкуры. Хотят показать, что участвовали в бою, чтобы оправдаться перед начальством.

Прекращаем огонь по танкеру. Он продолжает пылать, потерял ход, дрейфует. Других целей на море нет, разбежались.

Очень быстро летит в бою время. Не успеваешь опомиться, а уже и конец. Противник прекращает огонь, рвутся его последние снаряды. Заканчивает бой батарея Пушного. Только на левом фланге слышен ружейно-пулеметный огонь: стрелки бьют по уходящим самолетам. В наступившей тишине долго кричат потревоженные чайки.

С огневой позиции доносится трехкратное «ура! ура! ура!» Маркин тоже не понимает, в чем дело. Навожу стереотрубу на огневую и пытаюсь разглядеть, что там происходит. С орудий бегут люди. Кто-то, растопырив руки, взлетает вверх.

Вызываю к телефону командира огневого взвода Игнатенко.

— Ничего страшного, товарищ командир, — смеется он. — Огневики благодарят пулеметчиков за то, что хорошо прикрыли. Качаем.

— Почему тянете с докладом?

— Виноват. Все в порядке. Потерь личного состава и повреждений техники нет.

Через некоторое время докладывает Годиев: сбито два самолета, третий, подожженный, ушел на свою территорию. Тяжело ранен командир повой зенитной батареи лейтенант Павлов. Отправили его на машине в госпиталь, но вряд ли довезут.

Лейтенант Павлов прибыл в разгар боя, я так и не увидел его. По дороге в госпиталь он умер. Первый из самолетов сбила батарея Павлова...

Бекетов сразу же пошел к зенитчикам. Они не хотят верить, что командир мертв. Только прибыли на полуостров — и уже такая потеря. Батарея до нас воевала мало. Бойцы молодые, почти необстрелянные. Такого боя они еще не видели: бой артиллерии, бой с самолетами, бой с кораблями.

— А правда, что ваши места называют «долиной смерти»?

— Нет, неправда, — отвечает зенитчикам Бекетов. — Наша батарея воюет год. Надо уметь воевать, мы учились в бою. Смотрите, видны вам зенитные пулеметы? Не видны. Но вы слышали их в бою. А ведь то не зенитные пулеметы, а станковые, и бьют из них не зенитчики, а пехотинцы. Надо и вам сразу закапываться в землю.

Вернулся Бекетов. Рассказал о настроениях зенитчиков, посоветовал сходить к ним. Пойду, как только, освобожусь. Временно командовать зенитчиками будет молодой лейтенант Кирасиров. Надо хотя бы познакомиться.

Прошло больше трех часов, а танкер все еще пылает. Прилив гонит его к нашему берегу. Он уже в 14 кабельтовых от побережья. Над ним крестообразный столб дыма.

Афонин предлагает поставить танкер на якорь, как память о сегодняшнем бое. Мысль кажется мне заманчивой, но как забраться на танкер?

На КП заходит Годиев. Полушутя рассказываю ему об идее Афонина.

— Это мы быстро. Сейчас она будет привязана!

— Кто она? — смеется Маркин.

— Пароход, — не смущаясь, отвечает Годиев. — Мы ее быстро. Шлюпка есть. Подберем охотников, найдем канат и попробуем...

Все готово. Идем к берегу. Танкер почти рядом. Раздается взрыв за взрывом. Из утробы судна вылетают огромные языки пламени. Даже на берегу ощущаешь жар плавучего костра. Ничего не выйдет из нашей затеи. В такое пекло не заберешься!

Беспокойно проходит ночь. Закрою глаза и вижу пылающий танкер. То и дело звонит Космачев, сердится, почему не добились.

— Сам сгорит. Незачем тратить снаряды.

— А если утащат?

— Кому он нужен такой? Да и на буксир не возьмешь...

— Смотрите у меня! — Космачев бросает трубку.

Я устал, валюсь на койку. Через несколько минут новый звонок Космачева:

— Видимость ухудшается, танкер могут утащить в порт. Прикажите Пушному периодически стрелять в направлении танкера.

— Есть! — Но в душе я не согласен с приказом. Космачев находится далеко отсюда, он не видит происходящего.

Ветер гонит танкер в залив Маттивоуно, к берегу противника. Там он садится на мель. Приказываю сигнальщикам внимательно наблюдать.



С северо-запада опять наползают снежные заряды. Периодически стреляет батарея Пушного. Хочется спать.

Сколько спал, не помню. Проснулся от холода. Вскочил — кругом вода. Койка в воде, по землянке плавают вещи. Выбрался на волю — печет солнце, бурно тает снег. Надо расчистить водосточную канавку, и вода исчезнет.

Иду на КП к стереотрубе. Танкер по-прежнему горит на мели. Вода затопила не только мою землянку. Залило продовольственный склад, и растаяли два мешка сахару.

Кладовщик Коля Черепанов во время боя подносил на орудия снаряды. Он устал и заснул. За этот сахар Черепанова потянут в прокуратуру. На батарею уже выехал следователь. Теперь нам не помогут ни сожженный танкер, ни потопленный транспорт, ни два сбитых самолета. Шутка ли, два мешка сахару! Надо выручать Черепанова, хороший и смелый человек. В случае чего попрошу, чтобы его оставили на батарее искупать вину.

А танкер все горит. Через тридцать четыре часа после того, как его подожгли, приливо-отливное течение сняло поврежденное судно с мели и понесло на северо-восток. Мы думали затопить его при входе в залив Петсамо, но танкер понесло мористее. Придется, пожалуй, добивать.

Доложил Космачеву и получил разрешение добить танкер орудийным огнем.

До него 40 кабельтовых. Будем стрелять одним орудием. Наводчиком садится сам Покатаев.

Первый снаряд падает рядом, у самого борта. Маркин интересуется: как упал? Сам он наблюдать не может, занят ручным автоматом по выработке прицельных установок. Сообщаю ему, что снаряд упал с небольшим недолетом. Маркин хочет внести поправку, но я напоминаю о рассеивании.

Следующий снаряд попадает в цель. Звонят соседи, восхищаются точностью огня. 28 снарядов из 32 поразили танкер, а он все еще на плаву. Только дал крен на правый борт. Жалко снаряды.

Звоню командиру дивизиона. Линия занята — с Космачевым разговаривает комиссар дивизиона Иванов, он находится у нас на батарее. Телефонист подключает меня. Иванов сообщает Космачеву о том же. Вмешиваюсь в разговор, прошу разрешения прекратить огонь, по танкеру.

Космачев молчит. Неужели придется продолжать?

— Тонет, тонет! — кричит Трегубов. — Скорее, товарищ командир!

Бегу к своей стереотрубе, но поздно: танкер опрокинулся и уже погрузился в воду. Над местом его погружения вспыхивает огонь.

— Вечная память! — слышится в телефоне голос Покатаева.

За этим боем все время наблюдали с Муста-Гунтури. Наблюдали и наши солдаты, и солдаты противника. Позже один военнопленный сообщил, что они считали, будто горит большевистский корабль. Так им сказал фашистский офицер. Гитлеровцы радовались тому, что танкер наконец потонул...

Батарейцы повеселели, воспрянули духом. Не зря мы коптим небо. Дождались все-таки настоящего боя! А противник расвирепел. Снова начались ежедневные бомбежки. Но теперь немецкие летчики боятся малых высот.

28 мая приехал из Полярного секретарь партийной комиссии Калинин. Вместе с другими батарейцами я получил партийный билет. Калинин сообщил, что батарея представлена к ордену Боевого Красного Знамени.

## **В ТУМАНЕ**

Теплый светлый июнь. Снега как не бывало. Только в глубоких оврагах белеют остатки зимы, но и там звонко поют ручейки. Буйная трава, красивые, крупные, хоть и без запаха, цветы. В кустах попискивают чижи. Они старательно строят гнезда и совсем не боятся людей. Птицы привыкли и к вою сирен, и к реву самолетов, и к грохоту разрывов. Жизнь берет свое: птицы выют гнезда, в глубине воронок буйно растет трава, цветут цветы, покрываются листвой раненные осколками березки.

Матросы набирают полные корзины молодого щавеля и лука. Это витамины против цинги. Цинга страшна для нас больше смерти, но мы научились бороться с ней. Опустели землянки, настезь раскрыты их маленькие окошки — короткое лето должно просушить наше жилье, выгнать из него сырость. В минуты затишья мы даже умудряемся загорать.

Но война продолжается. Слышен нарастающий шум моторов. Летят. Бойцы поспешно одеваются и уходят в землянки. Лишнему человеку незачем торчать наверху.

Бомбят нас почти каждый день. Бомбы сбрасывают с больших высот: мешает наша противовоздушная оборона. Но стоит чуть нарушить маскировку — немедленно разобьют. Так разбили склад бочкотары старшины Жукова. Он собирал бочки для летних холодильников, устраиваемых в озерах. Немцы уже знают, где наша огневая, и метят в нее. Потерь пока нет. Недавно засыпало

дальномерщика Куколева, отдохавшего после смены в землянке. Едва откопали. Но Куколев жив, отделался ушибами.

В тот день нас бомбили трижды со свойственной немцам пунктуальностью: в 10.00, в 14.00 и в 18.00. Участвовало 18 пикировщиков. Батарея Пушного, зенитные пулеметы, стрелки открыли бешеный огонь и отогнали пикировщиков от огневой. Но 6 из них навалились на 37-миллиметровую батарею, которой временно командовал лейтенант Кирасиров, и подожгли боезапас. Батарея не открывала огня. Сбросив все бомбы, фашисты стали с остервенением штурмовать молчавшие орудия. Неужели все погибли на этой батарее? Я оставил за себя на командном пункте Маркина и, приказав открыть огонь, если из порта пойдут корабли, побежал к зенитчикам. Неожиданная картина открылась передо мной. Автоматические орудия стояли в своих двориках неповрежденные. Бойцы расчетов лежали в ровиках, прижавшись к земле. В чем дело, почему не открыли огня?.. Таков приказ командира...

Лейтенант Кирасиров подошел ко мне только тогда, когда последний самолет скрылся за горизонтом. Бледен, дрожит, не может выжать из себя слова... Такое уже было у нас при первой бомбежке, когда Рапкин приказал Травчуку уйти в укрытие. Кирасиров уклонился от выполнения боевого долга. Он решил, что самолетов слишком много и надо «сохранить» батарею и людей. А проще говоря, струсил.

На какое-то мгновение мне стало жаль лейтенанта. Он впервые в бою, молод. Но мы воюем, а не играем в войну. Случись в тот день воевать с кораблями, нас бы в прах разнесли при такой защите. Кирасирова должен судить трибунал. Направляю его в штаб ПВО Северного флота. Там решат судьбу труса. На место Кирасирова прибыл старший лейтенант Крячко.

Корабли в тот день не пошли, но мы ждем их с часу на час.

На другой день от берегов Норвегии к нам подобрался туман. Он был такой плотный, что мы вначале подумали: противнику удалось поставить громадную дымовую завесу. У нас солнце, а в море чья-то невидимая рука затягивает серый, высотой до двухсот метров занавес. Что за ним — неизвестно.

Принимаем меры предосторожности. Стрелковому взводу передаем сигнал боевой тревоги. Выставляем на побережье дополнительные посты наблюдения. Усиливаем дозоры, патрули. Годиев уводит своих стрелков на усиление стрелкового взвода. Командиры орудий, не ожидая сигнала, приводят на орудия боевые расчеты: так спокойнее!

Дальномерщикам и сигнальщикам объявляем боевую тревогу. Но и они уже давно на постах.

На вахте сигнальщик Глазков. Через каждые пять минут он заносит в «Журнал наблюдений» запись об изменении видимости.

Весь командный состав на местах согласно боевому расписанию. До передней кромки тумана осталось 150 кабельтовых.

Из штаба дивизиона звонит Космачев и объявляет нашей батарее боевую тревогу.

— Наверное, пойдут корабли, — говорит Иван Никитич Маркин.

Бекетов тоже считает, что после вчерашней обработки должны бы пойти корабли. Пойдут — встретим. Но как встретим?

Афонина тревожит: как обнаружить противника? Туман словно молоко. Подсказываю старшине сигнальщиков, что кроме глаз у человека — уши. Надо слушать. В густой туман хорошо прослушивается шум работы винтов. Туда, где шум, — огневой налет. Мы знаем, на каком расстоянии от берега ходят их корабли. Будем бить по площади. Возможно, заденем.

Бекетов уходит на боевые посты, к матросам.

Туман подползает к берегу. Оторвавшись от воды, он клочками, как вата, проносится над нами. По земле забежали тени, запахло морем, потянуло холодом. Спряталось солнце. Полуостров погрузился в серую мглу.

— Проходит мотобот, — докладывает вахтенный. Прислушиваемся: действительно, хорошо слышна работа двигателя.

— Значит, если пойдут транспорты, мы их тоже услышим, — предупреждает сигнальщиков Афонин.

На батарею прибыл Космачев с каким-то начальством. Все столпились в боевой рубке.

Туман медленно оседает на предметах водяной пылью.

— Видимость улучшилась! — докладывает сигнальщик Глазков.

— Шум винтов! — повернув ухо к амбразуре, докладывает Трегубов.

Афонин выбегает на улицу. Слушаем.

— Что-то есть на море! — неуверенно замечает Маркин.

— На подходе к заливу корабли! — кричит с улицы Афонин.

Кое-где уже видно море. Из тумана вылезли черные сопки берега противника. Предупреждаю боевые посты, чтобы смотрели внимательно: на подходах к заливу корабли.

— Транспорт! — кричит Глазков. — Правее Ристаниеми. Чуть заметен в тумане!

— Ориентир три, транспорт! — выдаю целеуказание на боевые посты.

Но транспорта я еще не вижу — там сплошная серая пелена.

— Уверены, что это транспорт? — спрашиваю Глазкова.

— Так точно! Цель наблюдается только временами. Сейчас опять зашла в туман.

Пивоваров тоже сообщает с дальнего номера, что у Ристаниеми транспорт.

— Первое видит транспорт! — слышу голос командира орудия.

Команды открытия огня поданы уже давно.

— Второе — цель! — И сразу же: — Третье — цель! Гремит батарейный залп. Сам я не наблюдаю цели.

Перед глазами лишь сгусток тумана.

— Падают! — сообщает старшина артиллерийских электриков Федот Голубоков, отлично работающий на ручном автомате стрельбы.

Но падения снарядов никто не видит.

Вмешивается командир дивизиона, уверяя, что снаряды упали с выносом «вправо одиннадцать». Верю, хотя знаю, что выносов на батарее никогда не было. Корректирую по указанию командира дивизиона:

— Влево одиннадцать. И опять гремит залп.

По нашей батарее открыла огонь артиллерия противника.

На море немного прояснилось, но цель едва различима.

Слева, впереди по курсу цели, поднялись три огромных фонтана от наших снарядов. Значит, первый залп упал верно, а теперь мы вынесли залп вперед — командир дивизиона ошибся. Ругаюсь на чем свет стоит. Командую: «Вправо одиннадцать!» Переходим на поражение.



Цель опять скрылась в тумане, результаты огня неизвестны.

Противнику повезло? Нет, он давно ждал этого тумана, рассчитывая на него. И теперь успешно использует момент.

У входа в залив ставим завесу заградительного огня. Но и тут не видим результатов. Огонь пришлось прекратить.

Туман рассеялся только на вторые сутки. Корабли противника прошли в порт. Что мы могли сделать?

Нужны радиолокаторы. У нас их нет. Вся надежда на поражение первым залпом в тот короткий миг, на который корабль может случайно выскочить из дымовой завесы или тумана.

И снова тренировки, непрерывная подготовка к ведению огня в подобных условиях. Разрабатываем целую систему планового огня на подходах к заливу. Пристреливаем огневые рубежи.

Противник тоже не теряет времени. Готовит «сюрпризы», которые должны разом покончить с батареей.

В конце июня, в тихий, спокойный день, на огневой раздался внезапный взрыв. Решили, что взорвалась необнаруженная бомба замедленного действия. Я позвонил Игнатенко и приказал немедленно осмотреть воронку.

Через пять минут — второй взрыв. Игнатенко доложил, что нашел в воронке донную часть от снаряда калибра 200 — 210 миллиметров.

Приказываю сигнальщикам наблюдать за берегом противника: стреляет батарея. И тут же третий взрыв на позиции.

— Вижу, вижу! — кричит не своим голосом Трегубов. — Бьет дура!

— Где?

Трегубов навел мою стереотрубу на батарею противника. Она на сопке над портом. Мы видим только вспышку при выстреле и конец орудийного ствола при полном угле возвышения. Возле позиции загорелся торфяник. Ветер гонит пламя к орудийным дворикам, к снарядам, к пороху. Не дожидаясь приказа, краснофлотцы бросаются гасить пожар.

Снаряды рвутся на поверхности земли. Каждый осколок несет смерть. Время полета снаряда 50—60 секунд. Интервал стрельбы две-три минуты: гитлеровцы тщательно обрабатывают результат каждого падения, секундомером в руках слежу за стрельбой «дуры» - так окрестил вражеское орудие Михаил Трегубов.

По вспышке нажимаю кнопку, а за десять-пятнадцать секунд до падения снаряда команду: «Ложись!» Бойцы быстро поняли зависимость команды «Ложись!» от разрыва снаряда. Более энергично гасят пожар. Никто теперь не прислушивается к полету снаряда, знают, их предупредят об опасности. Телефонисты на орудиях дублируют команду «Ложись!» по всей огневой позиции.

На втором орудии, которым командует Покатаев, дежурили наводчик Сергей Рачков, снарядный Павел Мацкевич и зарядный Мула Шакиров. Броневого щита укрывал артиллеристов от града осколков. Остальные бойцы боролись с огнем: пламя подходило все ближе к орудью. Нелегко погасить горящий торф, да еще под обстрелом. Один из снарядов попал прямо в орудие. Покатаев и его бойцы бросились в орудийный дворик. Рачков, Мацкевич и Шакиров лежали в луже крови.

У Рачкова оторвало правую руку. Лечь на носилки он отказался, не желая отвлекать товарищей от борьбы с огнем. Зажав рану, Сергей сам пошел в санчасть. Мула Шакиров, как выяснилось после, получил 40 ранений мелкими осколками. У Мацкевича сквозное ранение в живот, он без сознания. Только когда подошла машина «скорой помощи», Мацкевич очнулся от сотрясения носилок.

— Не надо, — чуть слышно произнес он. — Умираю... Поднимите повыше. Где море?

Батарейцы развернули носилки к морю и приподняли голову Павла. В его широко раскрытых глазах вспыхнули и тут же погасли живые искры...

Мула Шакиров, когда его грузили в машину, шептал:

— Моя скоро вернется...

«Дура» выпустила 24 снаряда. На втором орудии разбит броневого щита. Орудие трижды повернулось вокруг оси. Ствол так и остался на предельном угле возвышения — заклинился механизм вертикальной наводки. Снизить орудие невозможно. Торчащий ствол демаскирует нас.

Один из 24 снарядов противника дал прямое попадание. Это очень тревожно. Сотня таких снарядов — и батарея может быть уничтожена.

Но мы глубоко ошиблись, давая оценки результатов лишь по одной стрельбе. В дальнейшем гитлеровцы выпустили великое множество снарядов того же калибра и ни разу не попали в орудия. Первое и единственное попадание было случайным.

На другой день — опять три бомбежки. 88 бомбардировщиков сбросили на батарею свой груз. Ущерба почти никакого. А польза, как это ни странно звучит, была: одна из бомб взорвалась недалеко от второго орудия. Под действием взрывной волны оно дало угол снижения.

Вскоре из артиллерийского управления флота прибыл старшина, артиллерийский мастер Петр Иванович Голястиков. Второе орудие вернется в строй.

## **У НАС БУДУТ СОСЕДИ**

Обостряются мои отношения с Космачевым. Создали дивизион, пока, вернее, штаб дивизиона, а батареей нет. Штаб далеко от нас, ему трудно управлять, он превращается в дополнительную промежуточную инстанцию.

Космачев, очевидно, это чувствует, но поближе не переходит. Видимо, рассчитывает на появление новой батареи. Иногда кажется, что командир дивизиона ревнует меня к своей прежней батарее. Мы приобрели за это время боевой опыт, и естественно, что с развитием событий появилось больше успехов, больше уверенности и умения. Космачев часто придирается к мелочам. А нервы и без того истрепаны вечной бомбежкой и напряженным ожиданием врага.

Сводки с фронта одна хуже другой. Пал Севастополь. Бои идут в районе Новороссийска. Для меня потеря Севастополя такой же удар, как и потеря Киева. С черноморской столицей связаны самые яркие годы юности. В газетах мелькает имя старшего лейтенанта Андрея Зубкова. Это мой однокурсник. Когда фронт остановился в Новороссийске, батарея Зубкова контролировала из района Геленджика вход и выход из Цемесской бухты. Нерадостны и письма из тыла. Трудно. Но с Урала, из Сибири, из Башкирии незнакомые люди присылают нам подарки. Почти у каждого из нас остались родные и близкие в оккупированных районах. Все чаще на снарядах появляются надписи: «За Украину», «За сына и жену»...

Здесь, на Севере, фронт держится. Немцы сильно бомбят Мурманск. Туда приходят караваны союзников. Морская пехота крепко стоит на Муста-Тунтури, хотя гитлеровцы без конца предпринимают попытки сбить ее. Далеко в океане встречает наш флот караваны с грузами и, защищая их, часто вступает в бой с противником. Об этих боях мы узнаем не только из газет и рассказов офицеров, приезжающих к нам из Полярного. Море выбрасывает на берег во время приливов бочки, куски переборок, ящики с надписями и на немецком и на английском языках.

Это случилось в момент, когда мы проводили в лесочке комсомольское собрание, посвященное встрече ожидаемого пополнения. В воздушном бою над батареей «мессер» подбил наш истребитель. Летчик спасся на парашюте, но приводелся далеко от берега. А море холодное, долго не выдержишь.

Бросились к берегу. Матросы захватили с озера шлюпку-двойку. На этой старой посудине рискованно выходить в море. Но раздумывать некогда. Над летчиком кружит немецкий истребитель.

На шлюпке пошли умелые гребцы — пулеметчик Травчук и дальномерщик Куколев. Старшина Жуков приготовил для летчика водку, еду, сухое обмундирование.

Истребитель тут же обстрелял шлюпку из пулеметов. Заходит раз, другой. Шлюпка юлит и невредимая удаляется в море. Истребитель продолжает носиться над ней, но не стреляет, очевидно, израсходовал боезапас.

С большого валуна в бинокль наблюдаю за шлюпкой. Ее едва видно. Истребитель отвязался, ушел на аэродром, но может вернуться.

Наш летчик плавал в специальном костюме около часу и, конечно, окоченел. Шлюпку встретил враждебно: не поверил, что свои. Матросы силой вытащили его из воды.

Посиневшего летчика благополучно доставили на берег. Он потерял сознание. Врач, прибывший из бригады морской пехоты, быстро раздел спасенного, стал растирать спиртом, делать искусственное дыхание. Тело покраснело, как будто ожило. Но летчик в сознание не приходил.

Перенесли спасенного в землянку. Снова стали откачивать, растирать. И тут врач произнес: «Умер».

Как же так? Доставили живого, а тут — умер. Куколев и Травчук вне себя: надо спасти! Снова делаем искусственное дыхание.

Слышу голос Космачева возле землянки — значит, приехал. По уставу положено выбежать и встретить начальника.

Но до него ли сейчас? Подождет или зайдет в землянку...

Летчик умер. В ужасном состоянии пришел я на КП и только здесь вспомнил о командире дивизиона. Он сидел надутый и сердитый. На приветствие не ответил. На столе раскрыт наш «Журнал боевых действий». Поперек страницы красным карандашом надпись: «Где же честное служение Родине? Когда будете честно исполнять свой служебный долг?»

Несколько раз, ничего не понимая, перечитываю эту надпись. Ее страшный смысл не сразу доходит до меня. Жестокий упрек. За что? До сих пор я не слышал от Космачева ничего подобного. Что случилось? Что мы натворили?

— Выйдите! — приказал я находившемуся тут же Маркину.

Когда мы остались вдвоем, я потребовал у командира дивизиона разъяснения. За что? Неужели за то, что, спасая жизнь летчика, я нарушил устав, не встретив, как положено, начальника?

Он долго молчал. Потом объяснил: запущен «Журнал боевых действий» — нет записей о сегодняшнем дне. Это верно. Рыбаков, ведущий журнал, не делал сегодня записей. Он комсорг и был занят подготовкой комсомольского собрания. Это недопустимо, особенно в боевых условиях. Но достаточный ли это повод для такой оскорбительной надписи?!

— Эх вы!.. — Чтобы удержаться от грубости, я ушел из КП.

Командир дивизиона, очевидно, и сам почувствовал, что погорячился. Уехал, молча проглотив мою резкость.

На другой день мне доложили, что в тылу, в километре от батареи, появились какие-то военные. Отправил на разведку старшину Афонаина. Ему полезно прогуляться. Сигнальщики постоянно сидят, и все, кроме тощего Трегубова, толстеют. Афонин вернулся часа через полтора. Оказалось, что незнакомый полковник береговой службы производит на местности непонятные манипуляции. Он, естественно, не стал объясняться со старшиной. Пришлось пойти самому.

Полковник оказался представителем штаба МУРа. На совершенно открытой местности он возился с бусолью и мерной лентой. Я представился и вежливо спросил, что предполагается строить на этой площадке, годной разве что для футбола.

— От вас секрета нет. Здесь будет батарея.

— Полевая?

— Нет. Береговая, стотридцатимиллиметровая, четырехорудийная. Новая система. Значительно лучше вашей.

Вероятно, я очень выразительно улыбнулся. Полковник, неправильно меня поняв, стал уверять, что батарею обязательно построят нам в помощь. Я заметил, что надо быть слишком богатыми, чтобы ставить батарею на таком месте. Мы уже немало хлебнули горя от неудачного выбора позиции для 221-й. Неужто так ничему и не научил первый год войны? Это не позиция, а плешь,



открытая для наблюдателей противника. Первый взмах киркой, и сюда посыплются бомбы, снаряды. Противник не даст построить ничего, кроме кладбища.

Я наговорил тогда кучу дерзостей. Но полковник Просяник не обиделся и не ударился в амбицию. Наоборот, он поблагодарил за прямоту. Он здесь человек новый, местности не знал, о действиях противника имел представление лишь понаслышке, приехал для предварительной рекогносцировки. В штабе, согласно оперативной директиве, ткнули пальцем в карту и показали: вот место огневой позиции для 140-й батареи, перебрасываемой с другого участка. Согласно этому указанию Просяник заканчивал составление тактического формуляра.

И вот мы идем выбирать позицию для наших соседей. Местность самая подходящая. Здесь можно глубоко посадить орудия, не теряя сектора наблюдения.

— Сюда можно ставить первое орудие. — Я ложусь на живот и осматриваюсь.  
— Даже если линия визирования будет на уровне моих глаз, и то прекрасно вести наблюдение.

Полковник согласен. Приказывает подчиненному забить на этом месте колышек.

Мы выбрали места не только для орудий, но и для погребов, землянок, для всех сооружений батареи.

Полковник горячо благодарит, и я благодарю его, что правильно воспринял совет человека, для которого появление соседей — величайшая радость.

— Счастлив тот, кто будет командовать такой мощной боевой силой, — прощаясь, говорю Просянику.

Следом за полковником прибыла комиссия. Ее председатель, инженер Кордюмов, прислал за мной матроса, и все началось заново: ползание на животе, споры, доказательства. Члены комиссии согласились, что место для батареи удачное.

— Вы выбирали, вы с матросами и будете рыть котлованы под орудийные дворики. Так приказал комендант МУРа, — улыбаясь, говорит председатель комиссии.

Кордюмов сообщил еще одну новость. Создается Северный оборонительный район (СОР) со штабом на Рыбачьем. В это соединение войдут все войска, действующие на полуостровах. Командующим СОР назначен балтиец, герой обороны Ханко, генерал-лейтенант Сергей Иванович Кабанов.

— Так что, товарищ старший лейтенант, любите и уважайте нового начальника, — многозначительно произносит инженер. — Жирок с вас сгонят. Он, между прочим, умеет это делать!

Теперь мы не будем одиноки. С каждым днем растет наша сила. Назначение же строгого и сурового командующего не страшит, а радует. Мы уже наслышаны о том, что он не любит отсиживаться, выжидать... Уж не его ли это первое послание — новая батарея?!

Матросы охотно начали рыть котлованы для «чужой» батареи. Но сразу же раскололись на две партии. Одни оплакивают наше первенство и нашу самостоятельность. Другие убеждены, что дело не в соперничестве, а в том, чтобы лучше и крепче бить врага и скорее разбить его. Я слышал, как спорили Морозов и Покатаев.

— Отвоевались, — твердил Морозов. — Будем снова играть в молчанку, как в прошлом году и в полярную ночь...

Новая батарея, по мнению Морозова, отобьет у нас хлеб. Он объяснял Покатаеву, что стотридцатки бьют почти в два раза дальше нашей «старухи», что нам достанутся только недобитки... Покатаев укорял Морозова за мелкие чувства, за несознательность. Главное, будем сообща бить врага, осуществим настоящую блокаду... Но Морозов стоял на своем. Столько здесь торчали, столько намучились в ожидании настоящего боя! А теперь придут люди с другого участка фронта на все готовенькое, начнут воевать по-настоящему, а мы — на подхвате.

Есть сторонники у Морозова, есть и у Покатаева. Люди посерьезнее, поглубже и поопытнее поддерживают Покатаева. Черту этому спору подвел неразговорчивый Николай Шалагин:

— Побольше бы таких батарей — и Гитлеру полный капут!

Странное дело, но я поймал себя на гнусной зависти к командиру 140-й батареи, который приведет ее с мурманского направления. Куда нам теперь с нашей «старушкой»? Гложет меня эта мыслишка, хоть и понимаю, что абсолютно правы Покатаев с Шалагиным.

Котлованы вырыли за два дня и тщательно замаскировали. Боя в эти дни не было: боится, что ли, противник ходить морем в Петсамо? Но бомбят по-прежнему, без передышки. Они отбомбятся, а мы сразу за строительство позиций для соседа.

В один из таких дней за мной прибежал матрос Саша Максимкин.

— К нам на батарею прибыл генерал. Сейчас находится на втором орудии, разбитом «дурой», — единым духом выпалил матрос.

Я помчался на батарею. Высокая, мощная фигура генерала виднелась над орудием. «Заметят его фрицы да начнут лупить по позиции», — взволнованно подумал я. Рядом с генералом стоял командир огневого взвода лейтенант Игнатенко.

Выслушав мой скороговоркой произнесенный рапорт, генерал Кабанов приветливо поздоровался и неожиданно спросил:

— Доложите, каким образом вы замените ствол орудия?

— Ствола нет, товарищ генерал...

— Сегодня нет, завтра будет. Как думаете менять?

— Сделаем из бревен выкладку и по ней толкнем из саней ствол. Так же вытащим и старый.

— Согласен. А командир взвода предлагает ставить козлы.

— Козлы здесь ставить нельзя. Обнаружит противник.

— Верно. Надо думать, командир взвода.

— Есть думать! — улыбнулся Игнатенко.

— Ствол для второго орудия на днях доставят. Надо подготовить все для замены!

Мы пошли на позиции 140-й батареи. Кабанов сообщил хорошие вести. Командующий флотом обещал полуостровам помощь. Будет и береговая и зенитная артиллерия. Но и воевать надо так, чтобы ни один корабль не прошел в порт. Немцы за зиму навезли столько грузов, что сейчас вроде бы поставили транспорты на якорь, а капитанов распустили по курортам. В следующую зиму нам не придется спокойно спать. Надо бить их и в полярную ночь. В распоряжение дивизиона прибудет специальная прожекторная рота. Следует заранее выбрать и построить для нее позиции в районе 140-й батареи. Кончится бездействие в темное время. Прожектористы дадут возможность воевать и зимой.

Генерал по-хозяйски осмотрел строительство, посоветовал, как сооружать орудийные дворники с учетом опыта боевых действий береговой артиллерии Балтики и нашей батареи.

Батарея строилась быстро, по-военному. Рельеф местности позволил подготовиться к тому, чтобы орудия посадить пониже, а брустверы дворики сделать достаточно высокими для защиты людей от осколков. Хорошо продумана и система артиллерийских погребов. У каждого орудия будет по три основных и по два расходных погреба. Это позволит рассредоточить боезапас.

Шутка генерала о том, что противник поставил транспорты на якорь, а капитанов распустил по курортам, походила на правду. На хребте Муста-Тунтури круглосуточно захлебывались пулеметы, ухали гранаты, рвались мины. Ежедневно грохотали бомбы и у нас на батарее. А корабли все не шли.

К концу июля установились теплые безоблачные дни. Море блестело как зеркало. Ударится о воду чайка, и пойдут круги, как от брошенного в тихое озеро камня. Чуть колыхнется воздух, и тотчас заплещется, заколышется море. Даже глазам больно, когда смотришь на сверкающую под солнцем гладь воды. Но смотреть надо непрерывно.

В один из таких дней в час отлива, когда вода оголила черные гранитные скалы вражеского побережья, вахтенный сигнальщик Глазков обнаружил, что из залива Петсамо выползают две самоходные баржи. Они появились лишь на мгновение, низкобортные, черные, под цвет оголенного морем противоположного берега. Солнце было на той стороне и сильно слепило нас. Где-то у самого побережья медленно тащились баржи. Ни я, ни Глазков, ни наводчики орудий не видели их.

Только подойдя к Ристаниеми, баржи оторвались от берега, чтобы обогнуть мыс. Их отражения спроецировались на воде. Мы открыли огонь по концевой барже — головная уже вышла за предел огня нашей «старушки».

Вокруг баржи вскипела от разрывов вода, возникла завеса из всплесков, мешающая наблюдению.

— Тонет! — то и дело радостно выкрикивал Трегубов.

Но баржа снова показывалась из воды и медленно уползала вперед. Казалось, еще один залп — и потонет. А она уходила, хотя корпус осел и видна была только палуба.

Один из снарядов все же попал прямо в баржу. Потеряв ход, она погрузилась еще ниже. Но вот и предел. Дальше стрелять нельзя. К подбитой барже подошла головная, взяла на буксир, оттащила к берегу. Мы видим это, но мы бессильны. Стояли бы рядом новые пушки соседей — быть этим баржам на дне моря!

О ходе боя доложили Кабанову. Он спросил, сколько израсходовано снарядов.

— Шестьдесят?! Много. Не надо увлекаться боем. У командира должен хорошо работать самоконтроль.

Я оправдывался тем, что хотелось потопить, добить баржу. Но генерал объяснил, что не так-то легко это сделать. Здесь такие баржи впервые, а на Черном море и Балтике их уже знают. Если тратить столько снарядов, то на нас не наработаються все заводы страны...

Генерал, конечно, прав. Кроме всего, снаряды очень тяжело доставлять на полуострова. Связь с материком затруднена, артиллерия и авиация противника блокируют Мотовский залив. Фашисты знают о наших трудностях и торжественно сообщают по радио, будто войска на Рыбачьем съели лошадей, собак, кошек и мрут с голоду. Это их очередное вранье. Но экономить продукты, боеприпасы и горючее необходимо.

Противник явно изменил тактику. Грузы в Петсамо доставляют теперь малые самоходные баржи. Им легко прятаться у берега от подводных лодок, торпедных катеров, береговой артиллерии. Им не нужен эскорт.

Разбитую нами баржу выбросило на берег. Это еще больше обозлило врага. Против нас работают уже четыре батареи среднего калибра и две 210-миллиметровые. Вся наша земля изрыта воронками и кратерами. Ни проехать, ни пройти. В воронках бьют родники. Появились небольшие круглые озера, из них бежит множество ручейков. Все почернело вокруг. С каждым днем больше и больше оголяется наш берег.

Немцы стали сбрасывать еще и зажигательные бомбы. Горит торфяник, огонь оголяет черные камни. Нелегко тушить торф. Батарейцы управляют с пожарами только возле боевых постов, землянок, складов. Вторые сутки хозяйственники Жукова спасают склад горючего и смазочных материалов. Им помогают артиллеристы, возглавляемые Алешей Ковбасняном. Носится от очага к очагу вооруженная мотопомпой аварийно-спасательная группа Годиева. И все это происходит под обстрелом, под непрерывным потоком свинца, извергаемого самолетами.

— Кончится война, пойду в пожарные, — с горечью шутит Годиев.

А торф все пылает. Земля вокруг батареи черна, как на пахоте.

Невесело все это. А тут еще неприятность с Георгием Годиевым. Во время тушения пожара он поранил ножом ногу. Рана не опасна, но последствия этой истории неожиданны и нелепы.

Новость быстро разнеслась по батарее, дошла до представителя Особого отдела, началось дознание. Отважного, неутомимого Годиева обвиняют в саморанении! Уполномоченный настаивает на «анализе факта саморанения».



— Случайностей без причин не бывает, — самоуверенно заявляет он.

— Поймите, причина одна — плохо был закреплен нож. А ведь Годиев горец. Всегда носит при себе несколько ножей.

— Вы, товарищ командир, слишком доверчивы. Люди бывают разные. Почему так верите Годиеву?

— Ему нельзя не верить. Он рвется в самые опасные места.

— Это ничего не значит!

Исчерпав все разумные доводы в пользу Годиева, я напомнил уполномоченному Особого отдела нашу совместную охоту на уток. Он тогда нечаянно пробил палец на ноге. Дознания не вели только потому, что об этом никто не узнал.

— Был же с тобой несчастный случай. Почему не веришь другому? — зло спросил я.

Но не помог и этот довод. Уполномоченный твердил, что обязан пресечь попытку дезертирства. Я запретил тревожить Годиева расспросами. Расследователь ядовито заметил, что командир батареи слишком много на себя берет.

Пришлось доложить обо всем командованию и составить на Годиева боевую характеристику. К нашему счастью, на батарею вскоре прибыл член Военного совета Северного флота дивизионный комиссар А. А. Николаев. Я не видел его уже год. Он внимательно посмотрел на меня и с грустью спросил, куда это я подевал волосы — год назад была хорошая шевелюра, а теперь совсем лыс. Я рассказал Николаеву об истории с Годиевым.

— Беда, когда не верят человеку, — сказал член Военного совета, — да еще такому хорошему командиру. Дело это прикажу прекратить. Ваши бойцы устали. Дадим отдых, подменим. А вам, товарищ Поночевный, надо еще повоевать. Выдержите?

— Так точно. С полуострова и с батареи уходить не хочу.

Дивизионный комиссар усмехнулся и многозначительно сказал:

— Это неплохо. Но с батареи вы, возможно, уйдете. И даже с охотой.

## **СТОСОРОКОВАЯ ВСТУПАЕТ В СТРОЙ**

При очередной встрече с генералом Кабановым я понял, на что намекал член Военного совета. На этот раз с Кабановым приехал начальник политического отдела СОРа бригадный комиссар Балев. Я встретил их в 700 метрах от батареи, рассчитывая под прикрытием кустарника провести к нам — мы привыкли ходить этим путем, укрываясь от наблюдателей противника. Но генерал пригласил меня в машину, заметив сердито, что не каждый снаряд попадает в цель.

— Знакомьтесь, это командир стосороковой батареи, — сказал Кабанов, представляя меня начальнику политотдела.

— Товарищ генерал, я командир двести двадцать первой...

— Будете командовать стосороковой. Батарея уже на полуострове. Как только ухудится видимость — перетащим на позицию. Основания готовы?

— Будут готовы через два дня.

— Ускорить. Орудия ставить на основания с ходу. Срок — сутки.

Генерал снова подтвердил, что нам дают новые зенитки и прожекторную роту. Начнется настоящая боевая жизнь. Родина дает нам все, но воевать мы обязаны лучше.

Осмотрев строительство, командующий и начальник политотдела уехали. Я тут же помчался на свою 221-ю. Разыскал Бекетова и выложил ему с ходу все новости, кроме одной, о предстоящем моем назначении. Не так-то легко расстаться с теми, с кем провел первый год войны, хотя очень радуется возможность бить врага из новых современных орудий. Но может быть, и не придется расставаться? Может, не только меня, а и матросов переведут на 140-ю? Хорошо бы перетащить весь личный состав, кроме разгильдяев, конечно...

Были у меня тогда, не скрою, такие мыслишки. Но Бекетову, разумеется, ни звука. А он, слушая про прожекторную роту и зенитчиков, радовался:

— Не слабеем, а крепнеем к концу войны!

Конец ли это войны? Судя по сводкам, не совсем так. Жестокие бои идут у ворот Кавказа и на подступах к Волге. Но ощущения тревоги, сжимающей сердце, того, что было в прошлую осень, уже нет. Под Москвой враг разбит. Фронт на многих участках стабилизировался. И хотя пока тяжело, хотя много еще советской земли под фашистами, наши силы действительно возрастают. Мы это чувствуем по себе. Назревают, видимо, могучие удары по противнику.

Прибывают орудия 140-й батареи.

Приглядываюсь к каждому человеку, прислушиваюсь к каждому слову, присматриваюсь к поведению людей, которыми предстоит командовать.

В начале осени, как только пошли из Норвегии мутные, застилающие солнце заряды дождя и туманы, первым было доставлено орудие, которым командовал Вениамин Михайлович Кошелев. Выяснилось, что он уже знаком с орудийным мастером Петром Голястиковым, и оба тотчас занялись установкой орудия на основание.

Кошелев объявил подчиненным:

— Поставим орудие, тогда можно будет и закурить.

Кто-то проворчал, что эдак и курить отучишься. Но слово командира орудия — закон для матросов.

Кошелев — высокий стройный блондин с серыми, лучистыми глазами и озорным мальчишеским лицом. Такие, как он, сразу располагают к себе. Я не мог представить этого младшего сержанта суровым, строгим и требовательным. Но потом убедился, что дисциплина в его расчете отличная, хотя в подчинении у командира орудия были матросы, годившиеся ему в отцы. Кошелева любили. В боях на фронте он доказал свое, право на эту любовь.

В расчете у Кошелева были опытные, обстрелянные бойцы. Подносчик снарядов Щавлев — сухощавый, жилистый человек, с черным, высушенным нелегкой жизнью лицом, плотный морщинистый замковый Зацепилин, маленький рыжеусый Николай Субботин, который во время боя подставлял снарядный ящик, чтобы доставать до орудийного замка. Это не птенцы-зеленцы, а бывалые фронтовики. Но и они с почтением смотрели на матросов нашей батареи. Эти люди хорошо понимали, что значит провести год под бомбами и снарядами в наших скалах.

Кошелевское орудие прибыло в разгар бомбежки. К небу взлетали камни и обожженные кусты, горел, как всегда, торф, по земле стлался едкий дым. Младший сержант сразу доказал, что он не из тех, кто может стоять сложив руки в трудную минуту. Он тут же взялся с нами тушить пожар. Но орудийный мастер Голястиков мудро заметил, что наилучшая помощь защитникам полуостровов — скорее поставить на подготовленное место пушку, что эту пушку давно ждут.

В густом тумане под морозящим дождем на весь полуостров гремели моторы тракторов, тащивших к позициям технику 140-й. Орудия прибывали одно за другим. Длинноствольные, скорострельные, дальнобойные. Встретить их вышли наши матросы. Они смотрели на орудия со смешанным чувством

радости, преклонения и зависти и перебрасывались с будущими соседями дружелюбными шутками.

Я только недавно узнал, что батареей командовал Борис Васильевич Соболевский. Мы не виделись с того дня, когда после встречи с комендантом МУРа он грустно и торжественно произнес: «Простимся, лейтенанты, встретимся, наверное, нескоро!» Прошло два года. Я разыскал Соболевского возле походной кухни, где вкусно пахло борщом из свежей капусты и свежего мяса. Сразу чувствуешь, что люди прибыли с Большой земли — у нас и квашеной капусты уже нет, а свежего мяса и подавно, в котел закладываем солонину и сушеные овощи.

Встреча была невеселой. Передо мной стоял все тот же Боря, бледнолицый, худощавый, с гордо поднятой головой. Все та же прическа — челочка набок. Его большие серые глаза смотрели на меня отчужденно, настороженно. Мы и в училище не были друзьями, хотя в душе я симпатизировал ему. А тут... Однокашники встретились, как чужие.

Еще раньше я слышал возгласы из колонны: «Мы и здесь покажем себя!», «Соболевцы не подкачают»... Как пойдут дела, когда я приму батарею? У них сложились свои боевые традиции, крепко связанные с именем командира. На кителе у Соболевского орден Красного Знамени. Он грамотный, толковый командир. Как отнесутся его люди к назначению нового человека? Не отказаться ли, пока не поздно? Не поговорить ли откровенно обо всем с генералом?..

Об одном я не подумал, поддавшись юношескому эгоизму. О том, каково будет самому Соболевскому расставаться со своей батареей и переходить на мою «старушку» (я уже знал, что его предполагают поставить на мое место). Не задумывался я и о том, справедливо ли такое перемещение. Мне хотелось воевать, и весь я был поглощен перспективами предстоящего боя.

А сейчас, столкнувшись лицом к лицу с товарищем, растерялся. Поговорили о каких-то пустяках, потоптались на месте.

Собираясь уходить, я спросил Бориса, что за старикан устало шагал впереди колонны? Соболевский объяснил, что это не старикан, а комиссар батареи, ему сорок, он из запаса, был директором нефтеперегонного завода. В общем, настоящий мужчина. Я спросил, каков этот настоящий мужчина в деле.

— Интересуешься кадрами? — усмехнулся Соболевский. — Хороший комиссар. Значит, изучаешь. Что ж, махнем?

— Чем? Чем махнем, Боря? — смутившись, зачастил я.

— Когда будешь принимать от меня батарею?

— Кто тебе сказал?!— И, преодолев противную трусость, я заставил себя твердо произнести: — Когда прикажет командование. Быстрее ставь орудия на основания. Ждем тебя давно.

Это вновь прозвучало неуклюже и походило на упрек. Я знал, что батарея шла не с тыловых квартир, а с фронта, быть может, еще более тяжелого, чем наш. Но так уж пошел наш разговор — вкривь и вкось с первого слова.

Соболевский познакомил меня с комиссаром.

— Виленкин! — Комиссар, среднего роста, широкоплечий человек с осунувшимся, посеревшим, давно не бритым лицом, первый протянул руку.

Он, очевидно, проделал весь путь пешком впереди колонны и выглядел в тот момент невзрачно. Рядом с Соболевским Виленкин показался мне тогда стариком. Комиссар быстро, но внимательно взглянул на меня, тут же кивнул и направился к кухне.

— Не нравится? — спросил Соболевский.

— Больно стар, — признался я. — Хватит ли огонька зажечь души матросов?

— Хватит. На моей батарее много стариков. Идут из запаса. Большинство годится мне в отцы. Виленкин и с ними сумел хорошо поработать.

— А у меня одна молодежь, воюет еще кадровый состав, — похвастался я.

И тут же подумал, что при всех горьких потерях крови у нас пролито куда меньше, чем там, где воевала батарея Соболевского. У нас трудны условия жизни и борьбы. А там, на тех фронтах, идет гигантская, несравнимая с нашими масштабами битва. Потому и приходится комплектовать орудийные расчеты запасниками...

Стало неловко перед товарищем за кутерьму с перемещениями, и я забормотал что-то глупо извинительное. Соболевский со свойственной ему резкостью и прямотой оборвал меня и сказал, что он понимает разумность решения — нужно, чтобы на этом рубеже батареей командовал человек, уже имеющий опыт стрельбы по морским целям. Он все это учитывает, хотя ему, естественно, и обидно расставаться с такими людьми. Мне на новом месте крепко поможет Виленкин, он служил еще в давние годы на Тихоокеанском флоте сигнальщиком на корабле, где адмирал Головкин был вахтенным командиром. После этого Виленкин приобрел большой опыт организационной работы в гражданских условиях, так что на него можно положиться. А в общем, надо не в переживаниях копаться, а дело делать.

Соболевский тут же влез в дела 221-й батареи. А я почти все время проводил на строительстве 140-й, готовый в любую минуту примчаться на свою «старушку» и управлять ее огнем.

На новой батарее формально я пока «будущий командир» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Новые люди, и прежде всего офицеры, должны признать меня. Все мы мальчишки. Амбиции у каждого — хоть отбавляй. И если наскочишь на человека со вздорным характером, беда.

Так произошло со старшим лейтенантом Ишиным, командиром огневого взвода, временно исполнявшим обязанности помощника Соболевского. Представляясь, он подчеркнул: орденосец! Из-под плащпалатки на кителе поблескивал орден Красного Знамени. По внешнему виду Ишин резко отличался от окружающих — они еще не успели привести себя в порядок после долгой и трудной дороги. Стройный и красивый старший лейтенант был чисто выбрит, подтянут, отутюжен и показался мне образцовым боевым офицером. Немного, правда, хвастлив, но с кем этого не бывает. А то, что развязан, так это, возможно, не более, чем самоутверждение при первом знакомстве. Зато какой жгучий взгляд, какой лихой, бравый вид. Любо взглянуть!

Но уже первый разговор с Ишиным заставил меня переменить мнение о нем. Я почувствовал, что имею дело с себялюбивым, высокомерным человеком, считающим, что его дело — офицерское, возвышенное. А будни — удел старшин и сержантов. Имущество батареи свалено в кустах. Люди — под открытым небом. Время осеннее. С минуты на минуту возможен бой, а матросам негде ни спрятаться, ни обогреться. Все это нисколько не волновало старшего лейтенанта. Он легкомысленно твердил что-то о самостоятельности каждого человека, об умении быстро приспосабливаться к условиям, особенно, если подстегивает смертельная опасность. Словом, выходило, что он, как помощник командира батареи и командир взвода, не намерен заниматься этой тяжелой работой, что матросы должны сами заботиться о себе. Их дело — построить погреба, укрытия и землянки. Командиры же призваны лишь управлять огнем. Короче говоря, офицер командует войной, а ковыряться в грязи не его дело.

Дико звучала эта болтовня. Впрочем, ничего нового в ней не было: обычное чванство некоторых юношей, воспринимавших возрождаемое слово «офицер» без прилагательного «красный».

Порассуждав минут эдак десять в отвлеченном плане, я перешел на более конкретный деловой язык.

Принимая батарею, требую, чтобы во всем был порядок. Добиться этого, возможно, и нелегко. Допускаю, что орденосецу товарищу Ишину и не по вкусу нелегкий будничные труд. Но, как командир взвода, он должен строго выполнять свои обязанности.



Ишин недовольно поморщился, но не успел возразить — к нам подошел его подчиненный командир орудия Кошелев и спросил, где рыть котлован под землянку. Спросил не Ишина, а меня. Я как можно вежливее сказал, что готов сегодня нарушить порядок и не в обиду командиру взвода, который еще не успел изучить местность, выполнить его функцию. Ну а завтра старший лейтенант уже будет все знать и подчиненные должны обращаться с подобными вопросами только к нему.

Кошелев был поглощен горячей работой. Пропустив мимо ушей все тонкости, он спросил меня, где взять строительный материал. Ишин слушал нас равнодушно. Но, когда я предложил ответить на вопрос Кошелева, старший лейтенант гневно обрушился на командира орудия:

— Няньку вам надо! Ищите! Кругом лес, а он материала не найдет...

Пришлось вмешаться. Я заметил, что Ишин, видимо, еще не разобрался в условиях жизни на полуострове. Кустарник — наша защита. Только в кустарнике можно выпрямиться, идти во весь рост, не боясь, что заметят наблюдатели противника. Мы не случайно бережем каждую ветку... А строительный материал надо искать на берегу.

Ишин пожал плечами, и мы разошлись. Что ж, пока он волен и не признавать меня.

Но все эти огорчения забывались в горячке строительной работы, с которой надо было спешить. Предстояло построить более десяти жилых землянок, каждая на пятнадцать — двадцать человек, кухню, баню, санитарную часть, конюшню, складские помещения, телефонную станцию, радиорубку. Строить, строить, строить до наступления зимы, до близкой уже полной темноты. Строить под огнем, скрытно от врага, и без всякого снабжения. Единственная надежда на приливы: море выбрасывает нам бревна, переборки. Шли к морю. Где можно — шли, а где идти нельзя — ползли. Батарейцы устремились на поиски. Как муравьи, тащили к себе все, что попадалось под руку. Я разрешил разобрать основания на старой позиции 221-й. Делали это с азартом, забыв и об учебе, и об оружии, и даже о внешнем виде.

Однажды в обеденное время, возвращаясь с позиции своей «старушки» на 140-ю, я подошел к первому орудью с набранными по пути букетиками цветов и созревшей черники в руках. Из орудийного дворика выглянул часовой:

— Товарищ командир, генерал приехал.

Мне будто кувшин холодной воды вылили за пазуху.

— Где генерал?

— Пошел на второе. Очень сердитый.

Я ткнул под куст свои букетики, поправил обмундирование и помчался во весь дух.

Генерал сидел на ящике между вторым и третьим орудием, окруженный офицерами батареи. Виленкин стоял опустив голову. Ишин, увидев меня, язвительно ухмыльнулся. Не обратив внимания на рапорт, генерал свирепо посмотрел в мою сторону.

— Сидели когда-нибудь на гауптвахте?

— Нет, не сидел.

— А вы, Виленкин?

— Сидел, товарищ генерал, — спокойно ответил комиссар.

— Давно?

— Даже не помню. Лет восемнадцать назад, когда служил на корабле матросом.

— Ваши воспоминания можно обновить. — Генерал поднялся. — Если не наведете на батарею порядка — сидеть обоим! Так и запомните!

И надо же было, в такой момент генералу подвернулся под руку краснофлотец Щавлев. Вид у него был самый неподходящий: запылен, засаленная пилотка надвинута на глаза, морская шинель не по размеру свисает, как юбка. Да к тому же винтовка висит за плечом стволом вниз.

— Полюбуйтесь! Охотники и те выглядят лучше. Подойдите сюда, товарищ краснофлотец.

Щавлев остановился, подумал, неторопливо приблизился к генералу. Тот разглядел, что перед ним матрос уже в летах.

— Ты что это, годок, в таком виде? Неудобно для наших лет. Что молодые скажут?.. Вижу — стыдно. Охотник?

— Малость был, товарищ генерал.

— Сейчас вы воин, и держать винтовку стволом вниз позорно. Дайте ее мне. — Генерал проверил состояние оружия. — Никуда не годится! Винтовка ржавая, грязная. Наверное, сыновья лучше служат, чем вы. Идите... Вы приняли батарею? — вдруг обратился ко мне генерал.

— Никак нет. Работает комиссия по приему.

— Сегодня же вступить в командование батареей. Комиссия пусть работает, а вы командуйте. Спрос с вас. Буду через десять дней — проверю. Для быстрейшего обучения личного состава стрельбе по морским целям разрешаю взять с двести двадцать первой одного офицера и не более десяти командиров отделений и рядовых. Список представить в отдел комплектования.

Генерал уехал не попрощавшись, а я стоял красный, как нашкодивший ученик. Нечего сказать, доверили человеку новую батарею!

— Постройте батарею! — приказал Ишину. Он что-то пробормотал и ушел.

— Не горюй, командир, — взял меня за плечо Виленкин. — Период такой тяжелый, стройка. А люди у нас хорошие, не подведут, не отчаивайся!

Многие матросы слышали разговор генерала и с нами, и со Щавлевым. В строю стояли хмурые, сердитые. Я еще острее почувствовал себя виноватым. Плохое начало. Увлёкся строительством, все остальное забыл, а в военном деле так нельзя.

Коротко рассказав о замечаниях командующего и его приказе навести порядок, я предупредил батарейцев, что через 10 дней нам учинят полную проверку, и выразил уверенность, что воины не ударят в грязь лицом.

Бойцы безмолвно разошлись.

На командном пункте присел к своему столу, горько размышляя о случившемся. С первых шагов не справился с новыми обязанностями!

О штанину потерялся маленький зайчонок Пушок. Его на днях мне подарил Кошелев. Матросы поймали двух зайчат. Того, что с перебитой лапкой, выхаживали бойцы. Второй, с белым пятном на голове, достался мне. Зайчонок быстро освоился, стал совсем ручным.

Напоив Пушка молоком, я посадил его на колени.

— Опозорился твой хозяин, Пушок! Перед таким командующим опозорился...

На КП зашли Виленкин и секретарь партийной организации 140-й батареи старшина Ковальковский. Я уже заметил длинную, тощую фигуру парторга, но ни разу не поговорил с ним. Понимаю, Виленкин решил исправить эту ошибку.

Комиссар протянул руку. Пушок с радостью перепрыгнул к нему. Такая кроха, а чувствует, кто ему самый большой друг! Виленкин действительно любил Пушка. Разрешал ему даже есть суп из своей тарелки, только при этом придерживал лапы зайчонка.

Я пригласил Ковальковского сесть, протянул папиросы, предложил подымить. Но Виленкин сказал:

— Запрещаю! Зайка не любит дыму. Знаешь, Пушок, что обещал нам генерал? Не знаешь! Вот и хорошо. Хоть ты над нами не будешь смеяться!

— Тебе смешно, комиссар, а мне горько, — упрекнул я Виленкина.

— А ты, командир, поплачь. Может, легче станет. И Ковальковский с нами поплачет. Да и Пушок поможет... Не те у меня годы, чтобы бурно реагировать на каждую перемену в настроении начальства. Брось, командир. Давайте лучше втроем поразмыслим, что к чему и за что браться в первую очередь. Кого возьмешь помощником?

— А разве не справится Ишин? — спросил я, хотя уже и сам понимал: Ишин не на месте.

— Самолубец, зазнайка, лентяй. Не подойдет. Командовать артиллерией ума хватит, но людьми заниматься совсем не его дело. Так и не надумал, кого в помощники?

— Есть на примете один человек, но надо с ним еще побеседовать. — Я имел в виду командира огневого взвода моей «старушки» лейтенанта Игнатенко. Ведь генерал разрешил взять оттуда одного офицера.

Виленкин спросил, кого думаю брать с 221-й. При этом заметил, что надо все сделать так, чтобы не задеть самолюбия здешних батарейцев. Некоторые и так уже поговаривают: зачем, мол, нам помощь, справимся сами, не хуже других воевали на Западной Лице!

Решили действовать убеждением, тактично. Мне предстояло переговорить с людьми на 221-й и подготовить список тех, кто перейдет на 140-ю. Ковальковский взялся объяснить вновь прибывшим, почему им необходимы местные старожилы, имеющие большой опыт ведения огня по морским целям. В интересах дела надо все осуществить по-хорошему, избежав глупых обид.

Труднее всего, пожалуй, придется с Ишиным, который твердо метит на должность помощника. Как тянулся он перед генералом, выпячивая орденоносную грудь! На фоне всего, что рассердило командующего, Ишин выглядел молодцом. Тут-то и важно предотвратить заблуждение, не допустить ошибки.

А теперь — к бою! Эта команда заставляет офицера, управляющего артиллерийским огнем, подтянуться, привести в образцовый порядок прежде всего самого себя. Мне тоже необходимо взять себя в руки. Я остро

почувствовал это в последующие дни, когда нелепый случай явился новым испытанием для моих истрепанных нервов.

На 140-ю начали возить снаряды. Машины мелькали на перевале и сразу же скрывались в кустах. Но и этого достаточно, чтобы противник обнаружил движение и открыл по дорогам огонь. А машины все шли. Никогда еще я не видел их столько на полуостровах.

Генерал не считал препятствием артобстрел. На Ханко и в Ленинграде он видел и не такое. Боеприпасы должны быть доставлены на место во что бы то ни стало.

Мы в это время начали строить новый КП вместо временного. Со старой огневой позиции 221-й батареи потребовалось перевезти брус разобранного орудийного основания. Я попросил об этом шофера одной из машин, доставивших снаряды. Мы было отправились в путь. Но вести машину по открытой местности шофер отказался: опасно. Никакие аргументы не помогали. Водитель уперся: он возит снаряды, а не лес! Бревна можно перетаскивать на плечах.

К машине подошел техник-строитель. Он показал водительские права и предложил свои услуги. Я с техником сел в кабину, шофер забрался в кузов.

Мы еще не доехали до места погрузки, когда заметили — шофер сбежал. Надо вернуть. Случись что с машиной, не выберемся без его помощи.

Выскочив из кабины, я окликнул убегающего. Он обернулся и на ходу изобразил рукой что-то неприличное. Вынув пистолет, я пригрозил, что буду стрелять. Шофер вернулся.

Доехали до старых позиций, быстро погрузили с техником бревна. Шофер попросил разрешения вести машину. Я согласился.

Обратно мчались быстро, хотя никакого обстрела не было.

Возле батареи стояла машина капитана — начальника автоколонны. Шофер затормозил, выскочил из кабины, бросился к начальнику. Ездивший с нами техник-строитель остался на 221-й батарее. Я один, а шофер наврал, будто я побил его и хотел застрелить. Капитан бушует, грозит доложить о самоуправстве генералу, хочет требовать, чтобы меня судили.

Махнув рукой, я стал разгружать бревна. Капитан уселся на камень и что-то стал писать.

— Ваша фамилия? — спросил он. — Только говорите правду. Все равно проверю. От суда вам не уйти!

— За что?

— За рукоприкладство.

— Я не бил шофера.

— Зачем лжете, старший лейтенант? Ваша фамилия? — настойчиво потребовал капитан.

Я назвал себя. Капитан усмехнулся.

— Не сваливайте свои грехи на другого! Я знаю Поночевного. Он никогда так не поступит!

Пришлось показать документы. Убедившись, что я говорю правду, капитан извинился за резкость и предложил, если надо, дать нам хоть всю колонну.

Я не выдержал и зарыдал... Капитан стоял надо мною, печально качая головой:

— Нервы... нервы не в порядке. Досталось, видно, бедняге!

Он ушел, а я, сидя на камне, первый раз в жизни так горько плакал. Наверное, накипело на сердце. «Хотя бы никто не видел». Быстро привел себя в порядок.

На батарее первым встретил меня Виленкин.

— Чем взволнован, командир?

— Не спрашивай, комиссар. Большая неприятность. — И я рассказал все, как было.

— Это ничего, капитан не доложит генералу, а вот тебе доложить надо. Не бойся, больше обещанного нам не добавят...

Дружеский смех Виленкина окончательно привел меня в чувство .

## **НА НОВОЙ ПОЗИЦИИ**

Вот мы и расстались, люди, породненные первым годом войны. Всех, даже робких, ленивых, трудных, всех хочется забрать с собой на новую батарею. Но у меня строгий лимит: один офицер, десять младших командиров и бойцов. Володе Игнатенко до поры я даже не намекал ни о чем. Список остальных то и дело составлял и перечеркивал. Постепенно личные симпатии отступили на второй план, и верх взяли деловые соображения. От каждой специальности нужен тот, кто способен чему-то научить людей, пришедших с Большой земли.



Прежде всего необходимо выбрать дальномерщика и сигнальщика, которые умеют быстро и точно ориентироваться в условиях часто меняющейся видимости — в туманах, снежных зарядах, дымзавесах — и хорошо знают ориентиры на том берегу. От дальномерщиков я наметил Пивоварова, от сигнальщиков — Глазкова. Командиры орудий на 140-й хорошие, смелые, сообразительные. С такими как Кошелев, Игумнов, Косульников, люблю работать, в этом я уже успел убедиться. Для передачи опыта достаточно взять с собой с 221-й одного Покатаева. Иван Морозов хорошо освоил тактику подачи снарядов в обстановке одновременного нападения на огневую позицию с воздуха и с суши. Именно тактику этой тяжелой физической работы, тактику, найденную в кровавых боях при горьких потерях. Его я тоже включил в список, с которым отправился наконец к Борису Соболевскому.

Судя по личному составу принимаемой мною батареи, Соболевский умел подбирать хороших сержантов. Он отлично понимал то, о чем забывают многие: младший командир — решающая фигура в воинском подразделении. Борис уже успел познакомиться и с сержантами нашей «старушки». Прочитав список, он вскипел: там были лучшие люди батареи.

Немного поспорив с Соболевским, я затеял с ним игру, которая теперь, спустя многие годы, кажется мне легкомысленной и некрасивой. Именно я неважно выглядел в той игре. Мне хотелось доказать товарищу, что за мной в огонь и воду пойдет любой человек с 221-й. Но дело-то было совсем не во мне. Каждый воин мечтал получить в руки новое, более совершенное и сильное оружие. Каждый хотел воевать под началом командира, которого знает. Мы начали индивидуальный опрос сержантов по списку. Мне очень льстило, что каждый из них хотел перейти на новую батарею. Володя Игнатенко тоже обрадовался повышению в должности. Я по глупости считал это своей заслугой... Соболевский, разумеется, быстро сдался, тем более что я опирался на приказ генерала. На новую позицию перешли вместе со мной одиннадцать человек.

Рассказал я также Соболевскому историю кладовщика Николая Черепанова. Он получил 10 лет за два мешка сахару, размокшего во время бомбежки. Мы с трудом добились решения, по которому осужденный отбывал наказание не в штрафной роте, а на батарее, на переднем крае войны. Черепанов был хорошим подносчиком снарядов. Он самоотверженно воевал и после осуждения.

Мы считали, что Черепанов заслужил снятия судимости, и хотели ходатайствовать об этом. Соболевский сердечно заинтересовался судьбой матроса. Судимость вскоре сняли с Черепанова, а затем он был награжден орденом Красной Звезды .

С. И. Кабанов, как и обещал, приехал к нам ровно через десять дней. Строительство 140-й заканчивалось. Люди подтянулись и выглядели хорошо. Орудия были смонтированы на боевой позиции и готовы к бою.

Не повезло лишь дальномерщикам. Дальномер временно находился на открытой площадке, его следовало скорее укрыть. Но что поделаешь — под ним гранитная скала. Применять взрывчатку нельзя. Чтобы углубиться в скалу, Пивоваров и его подчиненные ломami и долотами день и ночь долбили гранит. Может быть, поэтому дальномерщики скверно подготовились к первому бою.

Предстояло подвести черту строительству и выдержать ответственный экзамен. Генерал разрешил отстреливать орудия во время первого же боя, который выпадет на долю соседей.

— Только не увлекайтесь, — предупреждал он, — Сейчас главная задача — отстрел. Следующая задача тоже главная — учеба, тренировка. А потом — самостоятельный бой.

Корабли противника давно не появлялись на горизонте. Гитлеровцы, очевидно, рассчитывали провести караваны в более темное время года. В августе мы наконец увидели транспорт, сопровождаемый шестью катерами-дымзавесчиками.

Об этом на 140-ю немедленно сообщил Иван Никитич Маркин. Я сказал, что буду лишь отстреливать орудия и чтобы помощи от нас не ждали. При любых обстоятельствах нам запрещено вступать в бой. Но с дальномера «старушки» необходимо все время получать данные о дальности до цели. Так мы проверим правильность работы дальномерщиков. Я просил также Маркина поддерживать непрерывную телефонную связь: с новой, еще неизвестной противнику позиции мы должны стрелять синхронно с залпами 221-й.

Конвой шел на сближение. Впереди транспорта строим фронта — четыре катера. Мористее, рядом с транспортом, — еще два. Появились и самолеты. Они, как всегда, покрутились над нашим берегом и повисли над позицией 221-й.

Я запросил у дальномерщиков дальность до транспорта.

— Девяносто шесть кабельтовых, — неуверенно доложил Пивоваров.

— Неверно, Пивоваров. Какова дальность, Иван Никитич? — спросил я тут же у Маркина.

— Семьдесят восемь. Сейчас открываю огонь.

— Плохо работают дальномерщики, Пивоваров! Слышу, Маркин командует:

— Поставить на залп!

Подаю ту же команду на все орудия 140-й.

— Залп! — одновременно произносим и я и Маркин. В единый гул сливаются залпы двух батарей.

Бой развертывался по привычной, известной нам программе. Бомбежка. Ураганный налет артиллерии. Катера ставят дымовую завесу. Сразу же после нашего первого залпа транспорт уходит за эту завесу.

Каждому орудию разрешено дать по три выстрела при различных углах возвышения. Три залпа — и испытана материальная часть, проверена крепость орудийных оснований. Орудия отличные, их основания прочны. Экзамен сдан. Батарея допущена к использованию в боях. Но только в будущих боях. В тот момент мы не имели права продолжать стрельбу.

«Старушка» била по площади, скрытой дымовой завесой, ставила плановые огни по вероятному курсу транспорта. Словом, продолжала бой вслепую. Сбросив морские дымовые шашки, катера тоже скрылись за завесой. Когда она рассеялась — ни транспорта, ни катеров.

Новички растерянно поглядывали на старожилов: как же так, почему соседи упустили конвой? Но мы хорошо знали свою «старушку». Мы понимали, Соболевский ничего не может сделать в таких условиях, Огонь вслепую, по площади — это огонь наугад. Чтобы добиться успеха, нужны хотя бы соответствующие приборы. Мы, пожалуй, будем действовать более эффективно. 140-я сможет начинать бой с большей дистанции... Все это мы старались объяснить людям, незнакомым с условиями войны на полуострове.

Уже на следующий день над районом новой батареи появился самолет-разведчик. Неужели противник обнаружил нас?

Сразу же после испытаний отправился к дальномерщикам. Пригрозил, что, пока не научатся хорошо работать, будем пользоваться данными дальномеров соседей.

Маленький, шустрый Симаков, первый номер на дальномере, насмешливо хмыкнул и сказал, что угроза неосуществима: дальномер 221-й далеко, его данные для нас неприемлемы. Он, разумеется, прав. Но я взъелся на Симакова: от него зависит определение дистанции до цели. Я настаивал на своем, уверяя, что данные соседей использовать все же можно, хотя и придется их трансформировать. А суть не в этом. Суть в том, что Симаков и его товарищи плохо работают. Суть в том, что в тяжелой обстановке войны к одному и тому же результату приводят и неумение работать, и нежелание бить врага...

Симаков разнервничался. Дальномерщики от удивления раскрыли рты, а некоторые возмутились.

— Ишь, куда гнет, предательство!.. — донесся чей-то злобный голос.

Я, конечно, переборщил, но уже не мог сдержаться, раздосадованный случившимся.

— Результат один! — настаивал я. — Представьте, что мы сегодня участвовали в бою. Даем первый залп по данным Симакова. Снаряды падают где-то в стороне. Фашисты на транспорте смеются: «Плохо Иван стреляет, может, там есть наши друзья». Таких «друзей», конечно, у нас нет. Но неумение работать налицо. А результат один. Верно?..

В ответ — недружное мычание. Продолжаю свое. Рассказываю, что будет, если корабль пройдет в порт. Доставленные транспортом патроны, мины, снаряды, бомбы по вине все того же Симакова могут обрушиться на головы наших людей... По существу все это верно. Но этого нельзя было в подобном тоне говорить людям, которые отлично понимали значение нашей борьбы и опасность ошибок. Передо мной не разгильдяи, а хорошие, настоящие бойцы, не успевшие освоить свое оружие. Я обязан их подстегнуть, взбудоражить, но не такими проповедями.

Хорошо, что это были настоящие люди. Они прощали на войне и неуместный тон, и излишний гнев, если верили командиру в бою. Прощали то, что в мирных условиях осложнило бы отношения командира с подчиненными. Тот же Симаков не обиделся, не заупрямился.

— Есть, товарищ командир, все будет сделано. — Он сказал это так искренне, что я твердо поверил: не подведет.

А я был так неправ! В первую голову виноват не Симаков, а Пивоваров. На то и назначен он к дальномерщикам, чтобы как следует обучить их...

Дальномерщики сдержали слово. Продолжая строить укрытия, они без устали тренировались и учились. Особенно неистово работал Симаков. С наступлением темноты на одну из дальних высот мы посылали по просьбе Пивоварова бойца с фонарем. Он обозначал цель, по которой матросы тренировались в определении дальности в темное время суток.

Не отставали и огневики. На боевых постах сутками шла учеба. Это стало очень важным для нас: прибыло молодое, неопытное пополнение. Готовность молодежи к бою — на совести и ответственности «стариков».

Подносчик снарядов Щавлев, тот самый «охотник» из запасников, который попался генералу под горячую руку, взял шефство над молодым стеснительным пареньком Иваном Оносовым, зачисленным в отделение подачи снарядов. Сам Щавлев подобрался, привел себя в надлежащий воинский вид. По натуре это хороший, смелый человек. Под обстрелом и бомбежкой вел себя всегда хорошо. Щавлев терпеливо объяснял молодому парню все, что знал сам. Откуда корабли идут и что они везут, насколько прозрачен воздух на Севере, как далеко видно

здесь в оптические приборы, какие батареи бьют с той стороны по нашему берегу, как вести себя под огнем, как обращаться со снарядами, откуда и куда подносить их... Оносов, живший до этого в глухомани, жадно ловил каждое слово «бати», считал его замечательным артиллеристом. И однажды наивно спросил, почему Щавлев служит не наводчиком, а подносчиком.

— Для наводки глаза устарели — слезятся, плохо вижу, — ответил Щавлев. — А вот ты, если постараться, сможешь стать даже наводчиком. Только приглядывайся, сынок, пушку получше изучай!

Через три дня после отстрела батареи дали боевую задачу. Изложена она была коротко, но внушительно: «Огневые налеты в течение суток срывать работу порта Лиинахамари». Такого у нас еще не было. Вот что значит дальнобойная батарея! Стрелять целые сутки — это ли не радость для всех нас, особенно для новичков, еще не видевших настоящего боя.

Мы быстро подготовились к бою. Володя Игнатенко разработал умный и хитрый график ведения огня. Это не простое дело. Снарядов разрешено истратить не так уж много, а работу порта надо срывать круглые сутки. Володе пришлось тщательно расписать интервалы между огневыми налетами. Они не должны повторяться, иначе противник сможет предугадывать залпы и приспособится к ним. Самый большой из интервалов — сорок минут, без него не обойтись. Но Игнатенко убедил нас, что и за это время в порту не наладится нормальный ритм работы.

— Представьте себе, начинаем огневой налет: все в порту разбегаются, ищут укрытия, — рассуждал Игнатенко. — Кончили налет, некоторое время там еще ждут, а вдруг опять трахнем. Пока соберутся, очухаются — наверняка пройдет полчаса. Только примутся за работу — новый налет...

По графику первый налет в 10.00. За полчаса до этого я собрал на КП командный состав батареи, командиров боевых постов. Условились, что боевых тревог объявлять не буду. Каждый командир должен знать график наизусть и заранее подготовиться к открытию огня. Надо беречь людей, учить молодых уклоняться от осколков. Для таких, как Оносов, — это боевое крещение, тренировка под огнем. Кончив налет, командиры уводят подчиненных в районы, где меньше всего возможно падение бомб и снарядов, и остаются там до следующего налета. Но не сидят без дела, испытывая ожиданием нервы подчиненных. Людей надо занимать изучением личного оружия или уставов. Если график придется внезапно изменить, дам сигнал боевой тревоги, и расчеты успеют вернуться на боевые посты.

Первый бой, да еще такой продолжительный, всех взбудоражил. Равнодушен только Ишин, пока еще командир огневого взвода. Даже перед таким событием он счел нужным подчеркнуть свою исключительность, чванливо пренебрег

черновой работой. При общем неловком молчании он заявил, что не успел проверить готовность расчетов к бою, на то есть старшина Базаркин.

Маленький краснолицый Базаркин, стыдясь за командира, вскочил и поспешил доложить: все готово, все проверено, порядок полный. Это подтвердили и Покатаев, Кошелев, Косильников, Игумнов. Совещание заняло немного времени. Все разошлись, когда до боя оставалось еще 15 минут.

Искусно скрывая волнение, Виленкин покормил Пушка. Второго зайчонка, оказывается, вылечили и отпустили на волю.

— Может, и мы отпустим? — спросил я.

— Шутишь?

— Почему бы нет? Он, наверное, скучает по мамке.

— Отпустишь, по тебе скучать будет. Кто даст ему супчику?

— И то верно...

— Старпом, — обратился Виленкин к Игнатенко, — смотри, чтобы Пушок не голодал без меня... Я пошел, командир.

— Проследи на позициях за маскировкой,

— Добро. Ни пуха...

Мы начали ровно в десять. Для первого налета дано по 6 снарядов на орудие. 24 снаряда по фашистскому логову!

Не успели отгреметь первые залпы, над портом выше самых высоких сопок взметнулось пламя. В небо поднялся черный дым. Судя по дыму, зажгли нефтебаки.

Закончив налет, огневики быстро замаскировали орудия и ушли в укрытия.

Противник ответил только через 15 минут. Снаряды ложились по всей территории батареи. Не успев точно засечь новую позицию, фашисты били на ощупь.

После налета комиссар пришел на КП. Ему не терпелось обозреть район порта в стереотрубу, своими глазами увидеть результаты огневого налета. Лицо его, как всегда, сосредоточенное и спокойное. Мне нравилось спокойствие Виленкина. Он никогда не повышал голоса, будто не умел волноваться, удивляться, возмущаться. Даже выговоры и то делал спокойно. Глядя на него, я невольно сдерживал свои взвинченные нервы. Зато Виленкин охотно поддерживал шутку.



С ним всегда легко. Так было и сейчас. Незаметно прошло время. Противник прекратил огонь. Мы начали следующий налет.

В сорокаминутный интервал между вторым и третьим налетом на нас уже более яростно обрушились батареи врага. Во время четвертого нас начали подавлять. Вражеские батареи открывали ответный огонь по вспышкам наших выстрелов. Завязалась упорная артиллерийская дуэль. Мы находились, конечно, в более выгодном положении, диктуя время открытия огня. Зато гитлеровские батареи не получали в ответ ни одного снаряда. Помня, что главная цель — порт, мы не отвлекались на контрбатарейную борьбу.

К вечеру нас начали бомбить. 12 «юнкерсов», не решаясь снижаться, сбрасывали бомбы с больших высот. 140-я под бомбежкой впервые. Но даже у новичков ни тени паники или испуга.

Уже после боя я узнал о развлечении, которое устроил себе наводчик Алексей Алексеев, хитроватый боец, слывший балагуром, по прозвищу Цыганок. Щавлев поставил возле его орудия Ивана Оносова, чтобы тот приглядывался к работе артиллеристов. В тот день «из педагогических соображений» Щавлев освободил юношу от подноски снарядов.

— Стой, смотри, все запоминай и привыкай, — наказывал он. — А чтобы не оглушило, пошире открывай перед выстрелом рот.

Заметив рядом с орудием юнца с разинутым ртом и почуяв, что тут можно поразвлечься, Алексеев затеял обычный розыгрыш. Сказав, что стрельба начнется не скоро, он велел Оносову взять ведро и идти на первое орудие «за сжатым воздухом». Паренек обрадовался поручению. Остряки с первого орудия вернули его к Алексееву, наказав доложить, что сжатый воздух, мол, подогревается, но для этого необходимо «ведро азимута». Словом, парню морочили голову, гоняли туда-сюда, совсем сбили с толку. Когда начался бой, упругая воздушная волна бросила Оносова наземь. Он не испугался. Вскочил и спокойно отошел в сторону. В воздухе что-то свистело, стонало. Рядом раздался сильный взрыв. В день прибытия на батарею Оносов видел, как командир орудия, обучая подчиненных, бросал шумно взрывающиеся дымовые шашки. Боец решил, что нечего бояться и сейчас: Алексеев, мол, над ним подшучивает, пугает, не надо поддаваться. Только после третьего взрыва он сообразил, что поблизости падают вражеские снаряды. Помчался к погребам, к Щавлеву, в открытую перебегая с бугра на бугор. Дальномерщик Симаков силой затащил парня в землянку. И вовремя: в нескольких метрах разорвался снаряд... Шутка шуткой, а юнец вел себя хорошо, он же впервые был под артобстрелом.

Тот день, ставший для 140-й и для меня днем боевого крещения на новой позиции, прошел удачно. Ни потерь, ни повреждений материальной части.

С тех пор мы начали регулярно бить по порту Лиинахамари и по другим пунктам, где дислоцировались штабы некоторых соединений противника, действующих на мурманском направлении. Сфера действий новой батареи сразу расширилась — мы били противника не только на море, но и у причалов.

После назначения на полуострова генерала Кабанова и организации самостоятельного Северного оборонительного района наша сила и активность значительно возросли. В дивизион уже входили не два-три орудия, а три береговые батареи. Третьей батареей командовал Георгий Захаров — простой, приятный человек, с которым все быстро сдружились. Давний защитник батарейцев армеец Кокорев, ныне командир дивизиона полевой артиллерии, и командир отдельной батареи Криммер получили задачу постоянно подавлять работающую против нас артиллерию врага. В водах Варангер-фиорда активно действовали советские подводные лодки и торпедные катера. С катерниками удалось установить связь и отработать взаимодействие. У нас побывали командиры катеров Моль и Лозовский. Я выбрался к прославившемуся на северных морях Шабалину. Это были не визиты вежливости, а деловые встречи. Нас объединяла общая цель: наглухо закрыть все входы и выходы на Варангер-фиорде, сообщая нанести врагу наиболее ощутимые удары.

Противник тоже изыскивал новые тактические приемы, новые формы боя, стремясь уничтожить нашу береговую артиллерию или хотя бы ослабить эффективность ее огня. Он развернул на побережье сеть пунктов дымопуска. Это позволяло резко уплотнить дымовые завесы, поставленные во время боя кораблями эскорта и самолетами.

Вскоре мы убедились, что фашисты серьезно готовятся к борьбе в полярную ночь. Они даже разработали тактику постановки прожекторами световых завес и ослепления наших батарейцев специальными снарядами.

А пока, до наступления полярной ночи, фашисты вели систематический массированный огонь по нашей позиции.

И все же будущее было за нами. Росли наши силы, крепла вера в победу. Положение на всем гигантском фронте менялось в пользу советских войск. Даже сюда уже доходили предвестники надвигающейся битвы на Волге. Мы понимали: назревает решающее сражение, и отправляли туда добровольцев. На защиту волжской твердыни уехал и Миша Трегубов, славный командир отделения сигнальщиков 221-й.

Так складывалась у нас обстановка осенью 1942 года.

## **РАСПЛАТА ЗА ЧВАНСТВО**

Нашу жизнь постоянно омрачали натянутые отношения с командиром дивизиона. Они не ладилась не только у меня, но и у Бориса Соболевского. Мы жили сами по себе, штаб дивизиона — сам по себе. Слишком далеко он был от нас, а перебираться поближе, под бомбы и снаряды, не торопился. Штаб превращался в эдакую надстройку сбоку припёка, в лишний придаток. Не случайно, наверное, когда понадобилось отработать совместную стрельбу по морской цели, управление поручили мне, а не Космачеву. Объяснялось это вовсе не какими-то моими особыми качествами, а тем, что мой командный пункт находился ближе и к батареям и к противнику, был связан прямой линией и с командирами батарей, и с генералом. Воевали батарейцы, и, естественно, боевая слава доставалась только им. В мае сорок второго за потопление танкера и транспорта 221-я была представлена к ордену Красного Знамени. Получили ордена и батарейцы. У людей, стоявших в стороне от боя, это вызывало ревность к славе, наградам, к продвижению подчиненных по службе. Бывает же, что иной начальник не допускает и мысли, чтобы подчиненный имел больше наград, чем он сам... Космачев хорошо начал войну и как командир нашей батареи прославился на весь флот. На новой должности он чувствовал себя на отшибе от боевого дела, а изменить положение, видимо, не хватало решимости. Совесть вспоминает, до каких благоглупостей доводило его ущемленное самолюбие, а меня — желание отбиться от незаслуженных обид.

Звонит вдруг командир дивизиона и устраивает разнос: нет бдительности, нет службы, забыт долг перед Родиной — тысячи страшнейших обвинений. А все дело в том, что часовые беспрепятственно пропустили его по дороге, которая проходит между вторым и третьим орудием к 221-й батарее. Расстояние между орудиями, кстати сказать, 280 метров. Часовые отлично видели командира дивизиона, но задерживать не стали и тут же доложили мне. Возмущенный Космачев строго-настрого приказал прекратить подобные безобразия. Раз приказано, я постарался сделать все, чтобы подобный случай не повторился. Дня через два на той же дороге часовые второго и третьего орудий одновременно окликнули Космачева. Ему приказали остановиться, поднять руки вверх, повернуться кругом и так, несмотря на протесты, продержали с поднятыми руками до прихода начальника караула.

— Прикажи, чтобы меня беспрепятственно пропускали через позицию, — тут же позвонил он после этого случая.

— Не могу, товарищ командир. Часовой действует по уставу. Под вашим именем может пройти любой...

Мы-то знали друг друга и скрещивали наши самолюбия в рамках допустимого. А вот Борис Соболевский впервые столкнулся с таким характером, как у Космачева. Борис — человек резкий, прямой и горячий. Он допустил ошибку: написал что-то непотребное на нелепом приказе командира дивизиона, искажающем истину.

Приказ есть приказ. Его надо выполнять, а не обсуждать. Космачев уцепился за ошибку Соболевского. Чтобы разрядить атмосферу, генерал собрал командиров батарей вместе с командованием дивизиона и спросил Космачева о его претензиях. Тот ни в чем не упрекнул ни меня, ни Захарова. Зато весьма красочно доложил о проступке Соболевского. Борис не отрицал своей вины: он не терпел вранья. И тут же честно объяснил генералу причину такого отношения к приказам командира дивизиона.

А у меня вот не хватило духу выложить свои обиды. На вопрос генерала я нерешительно ответил, что в основном никаких претензий к Космачеву у меня нет.

— А не в основном? — резко спросил генерал. — Докладывайте все!..

Кончилось разбирательство тем, что попало за всю эту возню и мне, и Борису, и командиру дивизиона. Генерал приказал Космачеву в течение пяти суток перенести командный пункт в район батарей. Это разумное и полезное решение вселило в нас надежду, что обстановка в дивизионе изменится к лучшему.

Но и в нас самих жил отвратительный микроб раздутого самолюбия и глупого чванства. Меня могут спросить: зачем вспоминать мелочи. Но это были не мелочи. Судите сами.

Один командир, чинясь перед другим, не пошел к нему первый. На первый взгляд, кажется, мелочь. А вот какая расплата последовала за нее.

4 октября 1942 года в двух километрах от нас развернулась на левом фланге 76-миллиметровая зенитная батарея. Командиру зенитной батареи следовало прийти ко мне и договориться о взаимодействии. Он не пришел. Я, к стыду моему, тоже не изволил к нему пойти — амбиция.

А 5 октября во второй половине дня над нами повис вражеский самолет-разведчик. Самолет появлялся над полуостровами ежедневно, по несколько раз в сутки. Мы к нему привыкли, называли его «дневальным» и «рамой». Разведчик кружил только над нашей батареей. Зенитчики огня не открывали. Поначалу мы не обратили на это внимания: еще не ощутили присутствия новой силы, не поняли, что за батарея находится рядом.

Оказалось, что «дневальный» появился на сей раз не просто как разведчик, а как корректировщик. Противник задумал в тот день уничтожить артиллерийским огнем 221-ю и 140-ю батареи. Главным объектом удара стала наша позиция. Пристрелку по батарее фашисты начали с орудия Вениамина Кошелева. Расчет орудия находился в землянке. Матросов удивляло и возмущало бездействие зенитчиков, позволяющих «дневальному» висеть над позицией. Кошелев установил дежурство наблюдателей, которые должны были из тамбура следить за орудийной позицией, чтобы вовремя подоспеть, если начнется пожар.

Только теперь мы спохватились и вызвали к телефону командира новой зенитной батареи. Я спросил, почему он не открывает огня по самолету.

— Не имею права! — спокойно ответил командир.

— Самолет корректирует огонь, а вы говорите о праве?

— Приказано не открывать огня по одиночным самолетам.

— Но корректировщик опаснее всех стреляющих батарей! Как можно молчать?

Командир зенитчиков снова повторил, что не имеет права открывать огонь. Мы решили немедленно доложить генералу. Но генерал сам был сильно встревожен и позвонил на батарею:

— Много стреляет артиллерии?

— Две двухсотсезимиллиметровые батареи, четыре береговые из порта и с мыса Ристаниеми и пять полевых батарей, выставленных на открытые позиции по побережью залива Маттивоуно. Эти бьют прямо с фланга. Огонь корректирует «фокке-вульф». Зенитчики ему не мешают. Им запрещено стрелять по одиночным самолетам.

Генерал приказал передать зенитчикам, чтобы немедленно открыли огонь по самолету. — Что делает батарея? — спросил он.

— Личный состав находится в укрытии.

— Почему не вступаете в бой?!

Я невольно сам повторил слова командира зенитчиков:

— Не имею права. Нам не разрешено вступать в бой с батареями противника. Бережем снаряды для морских целей.

— Странно... Вас бьют, а вы подставляете головы. Забыли, что ли, закон русских артиллеристов: драться до последнего снаряда! Снарядов нет — в штыки! Немедленно вступайте в бой с артиллерией противника!

И мы, и зенитчики вступили в бой, но упустили много времени. Для зенитчиков было уже совсем поздно. После первых же выстрелов «дневальный» ушел на аэродром. Он выполнил задачу — прокорректировал огонь во время пристрелки.

Пристрелявшись, гитлеровцы перешли на поражение и сосредоточили огонь на позиции первого орудия. Я уже говорил, что на новых позициях одно орудие

далеко отстояло от другого. Противнику пришлось бить по каждому из них, то есть вести точечную стрельбу.

Трагическим оказалось положение расчета первого орудия: бойцы выскочили по тревоге из землянки в разгар артиллерийского удара. Снаряды рвались почти на каждом квадратном метре. Не поднять головы. В таких условиях Кошелев и его расчет, ныряя из воронки в воронку, под градом осколков, по-пластунски добирались к орудийному дворику.

Первым добрался Кошелев. Дворик завалило камнями, вздыбленной землей, дерном. Бруствер поврежден прямым попаданием. Разбита и сорвана дульная пробка. В канал ствола набились камни. Кошелев схватился за телефон. Повесил аппарат на плечо, стал крутить ручку, вызывая командный пункт.

Следом за Кошелевым добрался почерневший от копоти замковый Коля Субботин. Продолжая крутить ручку молчащего телефона, Кошелев приказал проверить ствол. Замковый убедился, что в стволе камни, и бросился к нише за протирником.

Вползли в орудийный дворик Зацепилин и Пучков, таща на себе раненного в ногу установщика прицела и целика Афанасия Стульбу.

Пучкова самого оглушило и засыпало землей у выхода из землянки, но держался он молодцом. Кошелев приказал Пучкову найти обрыв и восстановить связь с командным пунктом. Пожилой запасливый Владимир Степанович Зацепилин достал индивидуальный пакет, чтобы перевязать товарища, но Стульба отказался от помощи. Взяв пакет, он доковылял до своего боевого места и сам перевязал рану на бедре.

Под бешеным артиллерийским обстрелом на первое орудие один за другим добирались бойцы. Кто ранен, кто оглушен, но все в строю. Заряжающий Аркадий Стругов с висящей плетью левой рукой вырвал у Субботина протирник и принялся прочищать ствол. Не мог удержаться — это его прямая обязанность. Но много ли сделаешь одной рукой? Стругову стал помогать Кошелев. Субботин взобрался на ящик из-под снарядов и занялся обследованием орудия. Расчет был готов открыть огонь. Но прежде надо убедиться, не деформирован ли ствол. Иначе его разорвет...

Обо всем этом мы узнали позже, когда кончился бой. А в тот час на командном пункте было известно лишь одно: первое орудие не отвечает. Противник ведет огонь на поражение именно по нему. Значит, либо перебита связь, либо что-то случилось с людьми.

Невероятно трудно восстанавливать телефонную связь под таким поражающим огнем. Командир отделения телефонистов послал на это смертельно опасное задание коммуниста матроса Василия Смирнова.



Командиры второго и третьего орудий доложили, что расчеты прибыли на пост без потерь.

К тому времени батареи Кокорева и Кримера по приказу генерала уже начали вести огонь по закрытым артиллерийским позициям гитлеровцев. Мы тоже спешили вступить в бой, хотя бы тремя орудиями, не дожидаясь восстановления связи с Кошелевым. Самыми близкими к нам и самыми в тот момент опасными были орудия врага, выкаченные на открытые позиции и стреляющие с фланга. До них всего три километра. Начали подавлять их побатарейно.

Противник, наверное, не ждал ответного огня, да еще орудий такого калибра. Через несколько секунд после начала пристрелки наш снаряд разорвался рядом с фашистским орудием. Тут же перешли на поражение.

Орудийная прислуга немецкой батареи разбежалась: разбило одно из орудий. Мы отлично видели в стереотру все, что происходит на позициях врага. Подавив батарею, мы перешли ко второй. Потом — к третьей. Отлично действовали наводчики Курочкин, Алексеев и Шестопалов. Я знал, если уж они поймут цель, живой не выпустят.

Генерал ввел в действие все батареи полуостровов, достающие до позиций врага. Фашисты ответили тем же. Над полуостровом разразилась настоящая огненная буря. От разрывов стонала земля. Осколки, как гигантская коса, начисто срезали все вокруг. До предела напряглись силы, нервы, воля людей, задышавшихся от копоты и огня.

А связи с Кошелевым все еще нет. Я разносил телефонистов и их командира Давыдова. Не знал я, что телефонист Василий Николаевич Смирнов уже погиб. Не знал, что лежит он в луже крови, не выпуская из мертвых рук концы провода, которые так и не успел соединить...

Но ждать мы больше не могли. Я приказал Володе Игнатенко быстро сформировать орудийный расчет из хозяйственников и писарей, добраться с ними до первого орудия и, если к тому времени связь все еще не будет восстановлена, управлять огнем этого орудия самостоятельно. Володю я посылал с матросами в самое пекло, но что поделаешь, если идет такой бой и в нем должны участвовать все.

Игнатенко, собрав нужных людей, ушел.

В тот же момент прервалась связь и с орудием Покатаева. На него теперь был направлен весь огонь врага.

Давыдов послал на линию последнего телефониста. Но и без телефонных сообщений мы видели: окутанное облаками дыма и вздыбленной земли, второе орудие действует. Там, у Покатаева, находился Виленкин. Мы видели, как

второе орудие разбило еще одну полевую батарею фашистов, и радовались: значит, живы, воюют!

Минуты через две замолчало и второе орудие. Стрелять продолжали лишь третье и четвертое.

Вскоре на командном пункте появился связной от Покатаева и доложил, что второе орудие разбито. Есть убитые и раненые.

Я оторвался от стереотрубы и посмотрел на связного.

— Комиссар тоже ранен, — тихо произнес он, — но пока на ногах.

Связной обстоятельно рассказал обо всем. Убит замковый Иваницкий. Прямым попаданием снаряда разорвало матроса Здунова, который помогал Покатаеву и Виленкину оказывать первую помощь раненым. Во время боя комиссар стоял у бруствера. Он следил в бинокль за результатами нашего огня и сообщал о своих наблюдениях командиру орудия. Перед роковым взрывом Покатаев заставил комиссара отойти к броневому колпаку орудия. Виленкина швырнуло на землю. Он ранен в лицо. Хорошо, что в трудную минуту Покатаев оставил у орудия сокращенный расчет. Остальных направил в укрытие. Комиссару тоже предложили уйти с позиции, да он отказался...

Я отпустил связного.

Теперь действовали только два орудия.

Позвонил генерал Кабанов. Спросил, как идут дела. Приказал прекратить огонь.

— Пусть считают, что вы разбиты. Готовьтесь к работе в основном направлении. К вечеру быть в полной боевой. К вам прибудет начальник штаба и обо всем расскажет.

Мы прекратили обстрел. Вскоре затих и противник. Последними закончили стрельбу Кокорев и Кример. Полуостров погрузился в тишину.

Неужели мы подавлены?.. Почти подавлены. Но два орудия могут продолжать бой. Мы еще будем воевать. Противник, конечно, превзошел нас по количеству введенных в бой стволов. Однако мы подавили большее число его батарей. Морально мы выстояли. Вот и Покатаев с оставшимися в живых матросами приводит свое орудие в порядок, выясняет характер повреждения материальной части. Виленкин не возвращается, значит, помогает Покатаеву... Что же у Кошелева?

Игнатенко еще не вернулся. С его людьми ничего, пожалуй, уже не могло стрястись. Они добрались до места, когда гитлеровцы перенесли огонь с первого орудия на второе. А вот Кошелев и его расчет... Что с ними?..

Огонь давно прекращен, но еще не рассеялся едкий дым от массы взорванной взрывчатки. Я вышел из командного пункта и остановился потрясенный: все кругом оголилось. Обнаженная, развороченная земля чернела, будто вспаханная.

Первым прибыл на командный пункт Володя Игнатенко. Лицо в копоти и в крови. Осколок сорвал с головы фуражку, на голове глубокая царапина.

— Выслужила фуражка свой срок.

Игнатенко шутил, но я видел его насквозь: тяжело даже ему, человеку веселого и беззаботного нрава.

Кошелев и его матросы живы, но много раненых. Сами себя перевязывают, в санчасть не идут. Игнатенко доложил и о вмятине на стволе первого орудия. Стрелять как будто можно. Канал ствола бегло осмотрели — выпуклостей на лейнере {1} нет.

Я не успел дослушать Игнатенко — появился комиссар. Его привели два матроса. Лицо у Виленкина забинтовано. Видны только глаза.

— Нас подавили? — спросил Виленкин, как только ушли сопровождающие. Нет, комиссар. Просто тактический маневр. Делаем вид, что подавлены. Вечером ожидается конвой.

— Вот оно что! Не зря, выходит, на нас так навалились!

— Да. Сигнальщики отмечали каждый выстрел орудий противника. По батарее выпущено восемьсот семьдесят два снаряда. Подсчитаем новые воронки — проверим.

Забегая вперед, скажу: эта цифра полностью подтвердилась. 872 снаряда бросили в нас в этом бою.

— Огонь прекратили по приказу генерала?

— Да. Он все время был на линии.

Пронесли труп телефониста Василия Николаевича Смирнова. Мы сняли фуражки. Виленкин сказал:

— Война, война..

Подошел Ишин. Я не видел и не слышал его в течение всего боя. Все в сборе.

Зашли на командный пункт, и я приказал Ишину доложить о положении в огневом взводе. Пробормотав что-то невнятное о втором орудии, старший лейтенант уверенно сообщил, что третье в порядке. Побывать на первом не успел. Что нужно сделать, чтобы сегодня же вступило в бой второе, — не знает.

Хорошо, что раненый Виленкин успел осмотреть орудие, поговорить с Покатаевым и все записать. Разбит воздухопровод. Мы тут же попросили генерала прислать новый. Если его быстро доставят, к вечеру сможем ввести орудие в строй.

Потери в расчете второго орудия Игнатенко решил восполнить хозяйственниками, уже подготовленными и проверенными в бою. Виленкин рекомендует назначить на орудие матросов Николаева и Черникова, одного — установщиком прицела, другого — зарядным. Я удивлен: это самые инертные люди на батарее, говорят, они спят даже на ходу.

— Потому и инертные, что о них так говорят, — сказал Виленкин. — Наклеить ярлык легко. А они давно мечтают попасть в орудийный расчет. У обоих одно горе: семьи остались в оккупации.

Раз настаивает комиссар, пусть будет так.

Несколько раз звонил генерал, проверял, как залечиваем раны. Мы понимали, генерала беспокоят не только наши беды, но и готовность к главному бою.

Под вечер к соседям приехал начальник штаба Северного оборонительного района Даниил Андреевич Туз. Потом он появился и у нас. Это наш старый Друг.

Новое командование — и Кабанов, и Туз, и Балев — многое делало для нас. Просьбы штаб удовлетворял немедленно. В тот же день нам доставили новый воздухопровод и прислали в помощь Петра Голястикова. Бригада ремонтников под его командой сразу же занялась восстановлением второго орудия. Я уверенно доложил начальнику штаба, что к вечеру орудия будут в строю. Теперь все зависело от того, когда пойдут корабли. Туз сообщил, что, судя по данным авиаразведки, корабли покажутся затемно. В нашем распоряжении не меньше двух часов.

Предстоит бой в темноте. Мы готовились к нему и ждали случая проверить себя до наступления полной полярной ночи. Генерал выполнил обещание и заблаговременно прислал прожекторную роту. Командиру роты Шубину подчинены во время боя все прожекторные станции береговых батарей, в том числе прожекторный взвод Гоши Годиева у соседей. Шубин управляет ими с нашего командного пункта, куда приходит регулярно перед наступлением

темноты. Добрые отношения с Шубиным наладились у меня с первого дня. Как только темнеет, включаются рубильники дежурных прожекторов. Разыскивая вражеские корабли на подходах к порту, прожектора работают по строгому графику. Кроме того, у нас появилась и тепlopелеигаторная станция (ТПС). Это новое секретное средство поиска, и мы мало знали о нем.

Знали лишь, что ТПС точно определяет пеленг невидимой цели.

Проводив начальника штаба, я вернулся в землянку второго орудия. Надо поговорить с Черниковым и Николаевым, которых по просьбе Виленкина перевели в орудийный расчет.

Матросы отдыхали после ужина. Пришла почта. Одни читали газеты, другие — счастливыцы — письма. Я присел к столу и закурил.

Наводчик Алексеев по прозвищу Цыганок, тот, что подшутил над Оносовым, показал фотографию девушки:

— Хороша?

— Любите?

— Получил два письма. Патриотка...

Это слово прочно вошло в быт. На флот приходят письма и фотокарточки из Москвы, Сибири, с Урала, с надписями «лучшему моряку», «орденоносцу», «герою фронта». Часть писем попадает и на батарею. У нас много молодежи, и потому много охотников вести переписку.

— Девушка симпатичная. Только смотрите, не пишите чепухи, — наставительно сказал я Алексееву. — Дорожите честью воина.

Алексеев лукаво посмотрел на меня и, стараясь быть серьезным, громко сказал:

— А я, товарищ командир, все правильно напишу. Хоть в газете печатайте. «Ваша фотокарточка приклеена на орудии Н-ского калибра Н-ской батареи и всегда передо мной. Навожу орудие по фашистским кораблям, думая о вас и о том, чтобы скорее уничтожить врага и встретиться с вами». Ну, как, товарищ командир, порядок?..

Этому парню палец в рот не клади: и наводчик хороший, и на язык остер. Он действительно наклеивал фотографии своих корреспонденток на орудие, и это нравилось окружающим: все же кусочек далекой жизни тыла, напоминание каждому о своем.

Со всех сторон ко мне потянулись, руки с фотокарточками — каждый расхваливал свою... Коля Курочкин, самый молодой и красивый в землянке, сообщил, что после войны он по приглашению красивейшей девушки на свете отправится в Москву. И фотография ее хороша, и письма она пишет хорошие — это хором подтвердили товарищи. Значит, письма читают вместе, все сообща.

— Ау вас есть знакомые? — спросил я Черникова и Николаева.

Черников, как всегда, молчал, а Николаев буркнул:

— Нет.

— Родные пишут?

— Нет у меня родных. — А вас, Черников?

— Была мать-старуха, да там теперь немцы...

В землянке притихли, многие украдкой вздохнули, да и у меня стало муторно на душе. Протянул Алексееву гитару, попросил сыграть. Цыганок пропел частушки про низкорослого солдата: «Хоть картошку чистить буду, все равно буду солдат»...

Потом затагнули нашу любимую «Плещут холодные волны». Батарейцы любили песни и пели даже в ожидании боя. Только Николаев и Черников не присоединились к хору. Подсев к этим матросам, я спросил, почему не поют, заговорил о перспективах их новой службы, предложил Николаеву стать установщиком прицела и целика. Как обрадовался и преобразился человек! Я невольно угадал его заветное желание. Надоело, говорит, в оружейном погребе горбиться, там и боя не видно! Черников тоже словно ожил, услышав, что будет активно участвовать в сегодняшнем бою. Глаза у обоих заблестели, вот и они стали подтягивать товарищам. Прав Виленкин! Важно вовремя поддержать человека.

## **НЕТ, МЫ НЕ ПОДАВЛЕНЫ!**

Хотя мы и ждали в тот вечер боя, но начался он внезапно. Еще до появления кораблей береговые пункты противника пустили дым, невольно привлекая наше внимание к морю. Северо-восточный ветер снес дымовую завесу на их материк. Наши прожектора тут же расплосовали лучами море. И снова — оружейный шквал: гитлеровцы бьют по прожекторам. Но Шубина трудно перехитрить, он очень ловко управляет свечением, быстро включая и выключая то одну, то другую точку. Вражеские батареи не успевали пристреливаться по вспыхивающим и быстро гаснущим лучам.



Шубин доложил, что в луче прожектора появился катер-дымзавесчик. Наша «подавленная» батарея заговорила снова. Сбросив морские дымовые шашки, катер скрылся за свою же завесу.

Теплопеленгаторная станция сообщила: на пеленге 252 большая цель.

Транспорт! Ради его проводки на нас бросили днем около девяти сотен снарядов. Мы с Соболевским немедленно занялись целью. Ее скрывали тьма и дым, ежеминутно уплотняемый катерами. Мы поставили на пути транспорта подвижный заградительный огонь. И небезуспешно: за дымом вспыхнуло пламя. Сигнальщик Дюков, отличный специалист 140-й батареи, доложил, что транспорт горит. В телефоне слышались радостные возгласы наводчиков орудий:

— Цель горит!

Но мы видели только пламя и посылали все новые снаряды в огонь за дымовой завесой.

Первый ночной бой внезапно прекратился. Горящий транспорт зашел в залив Петсамо. Все смолкло, погасло. Только над портом некоторое время еще виднелось зарево, да наши прожектора высвечивали до рассвета то море, то берег противника.

Сразу же после боя позвонил С. И. Кабанов и сообщил: со мной будет говорить командующий флотом Арсений Григорьевич Головкин. Я приготовился выслушать строгое внушение за то, что мы лишь подожгли, но не потопили транспорт. Но командующий мягко, по-доброму поздоровался, сказал, что наблюдал бой, просил передать благодарность личному составу дивизиона и обещал на другой день побывать у нас.

Я тотчас позвонил Космачеву и доложил о благодарности. Командир дивизиона не обрадовался а обиделся: почему командующий говорил не с ним, а со мной... И бросил трубку.

— Опять скандал? — хмуро сказал Виленкин. Но на сей раз комиссар не дал мне «поплакаться». — Все это мелочи, командир, — с несвойственной жесткостью произнес он. — Мелкие уколы самолюбия и мелкие обиды. У нас с тобой есть повод для более серьезных переживаний. Командующий хоть и похвалил за бой, нам нечем хвастать. Похвалил потому, что знает: батарея много пережила сегодня. Но транспорт не потопили. Только подожгли.

— Проклятый дым, — буркнул я, ошеломленный и раздраженный справедливым укором.

Вот и Виленкин, как когда-то Бекетов, лезет с поучениями: надо топить, надо топить... А я что, не хочу топить?

— Ты же видишь, комиссар, управлять огнем в темноте при таких дымзавесах просто невозможно.

— Дымок тоже надо разгонять, — спокойно отозвался Виленкин.

— Как?!

— Бить по катерам.

— Но и они в дыму. Видел, как они прячутся в дым? Кроме того, основную завесу ставят с берега...

— Значит, надо думать. Противник ухитряется протаскивать транспорты в порт. На кой же черт мы торчим здесь!.. Зачем артачишься, командир? Сам ведь все понимаешь. Сегодня мы подожгли транспорт. Некоторое время он оставался в зоне нашего огня. Еще бы одно попадание! Обрадовались батарейцы, что подожгли, пуляли-пуляли, а не попали. Вот о чем надо думать!

Виленкин был прав. Когда Бекетов упрекал меня в том же, я оправдывал себя слабостью нашей «старушки». Теперь все изменилось. Мы мечтали о новой технике и получили ее. Орудия дальнобойные, прожекторов много, тепlopеленгаторная станция есть. Теперь с нас и спрос больший. Надо научиться пользоваться данными тепlopеленгаторной станции. Срочно усовершенствовать огневые планшеты. Сделать непроходимым подвижно-заградительный огонь. Мы должны заранее и как следует подготовиться к бою в темноте... Хоть и обидно выслушивать поучения в минуту, когда поздравил командуемый, но тысячу раз прав комиссар. А вот выполнить его другой совет и не реагировать на мелочи... Это не просто.

Мелочи подстерегали нас на каждом шагу и здорово мешали делу. Особенно раздражало, когда дергали сверху из так называемых промежуточных инстанций, время от времени создаваемых по устаревшей довоенной схеме.

Пусть не возникнет ложное представление, будто мы ершились при всяком требовательном подходе начальников, стоявших на промежуточной лестнице между нами и генералом. Нас раздражало другое. Раздражали ненужные, лишние ступеньки, функционалы, не только не участвовавшие в организации боя, по своим наскокам, стремлением отличиться и как-то утвердить свое существование, мешавшие делу. Кстати, они потом исчезали, так и не успев утвердиться. Так было, например, со штабом полуостровного сектора береговой артиллерии.

Помимо штаба дивизиона, роль которого ощутимо возросла с появлением новых батарей и переносом КП в район боя, существовал еще начальник артиллерии полуостровов. Он координировал действия всей артиллерии — и морской, и армейской. Должность эту занимал полковник Алексеев, под началом которого мы отлично работали. Но вот в угоду старой довоенной схеме неожиданно появился еще один начальник — комендант сектора береговой обороны. «Бумажная атака усилилась!» — горько острили у нас. Нам этот штаб казался ненужным, и генерал Кабанов действительно вскоре расформировал его. Но пока сектор существовал, ему надо было что-то делать. В боевое управление он, к счастью, не вмешивался. Зато в промежутках между боями усиленно «инспектировал» и занимался «разносами». В этом ненужном штабе имелся и комендант, назовем его подполковником Долбуновым. После описанного тяжелого боя он прибыл на позицию второго орудия, столь пострадавшего накануне. Людей в то время не хватало не только для приборки территории, а и для ремонта техники. Но коменданта интересовало не боевое состояние орудия, не то, в какой помощи мы нуждаемся (всем этим с практической пользой для нас занимались генерал Кабанов и начальник штаба Туз). Коменданта беспокоил лишь внешний вид орудийного дворика, где еще не просохла кровь погибших. Не будь рядом житейски мудрого и выдержанного Виленкина, который умел всех нас сдерживать, я, наверное, натворил бы бед, разговаривая с таким «инспектором». Но все обошлось благополучно. Комиссар умел отвлекать нас от подобных мелочей.

Однако существовали еще и внутренние мелочи, с которыми нельзя было мириться.

Ишин третировал Володю Игнатенко. Володя потребовал, чтобы мы раз и навсегда рассудили их и помогли наладить нормальные деловые взаимоотношения. Дико как будто звучит: командир огневого взвода третировает помощника командира батареи, которому обязан безоговорочно подчиняться. Есть устав, строго определяющий характер их отношений. Но Ишин нагло и хитро нарушал устав, а меня, как командира, норовил поставить вне конфликта: он утверждал, что я поддерживаю Игнатенко, как своего выдвиженца. Игнатенко действительно был моим выдвиженцем. Это был отличный помощник командира и смелый воин. Ишин не мог смириться, что «его должность» занял «пришлый» Игнатенко, лейтенант, да еще без ордена. Я пытался урезонить Ишина. Говорил ему слова и высокие, и сердечные, и строгие. Все бесполезно. Ишин был искренне убежден в своей правоте. Орден он получил за дело, но испытания славой, хоть и небольшой, не выдержал.

А сам я? Критически ли я смотрел на себя, занимаясь хотя бы такими случаями, как конфликт чванливого Ишина с Володей Игнатенко? Вспоминая о прошлом, трезво оценивая свое поведение, с болью думаю о своих ошибках. А тогда? Осуждая Ишина или своенравного командира дивизиона, умел ли я строго

взвешивать и свои поступки?.. Нет, не умел. Хотя и Виленкин, и другие старшие товарищи не раз наталкивали на это.

Любил нашу батарею и часто навещал нас начальник артиллерии Северного оборонительного района полковник Алексеев. Мы тоже любили этого пожилого сердечного офицера. Матросы почтительно называли его дедом-полковником. Алексеев был общителен, весело рассказывал о невеселом, хотя бы о том, как в Ленинграде, в квартиру, где осталась его жена, попал снаряд, пробил потолок, прошел мимо кровати, пробил пол и вышел на улицу — жена даже не успела испугаться. Матросы слушали и приговаривали: «Такой должна быть жена артиллериста». Но Алексеев мог эдак добродушно, одной фразой и пристыдить человека, крепче, чем грозным разносом.

В те октябрьские дни полковник Алексеев приехал к нам после всех остальных начальников.

— Были вы у своих соседей, у зенитчиков?

Я признался, что не был. Считал, что неудобно идти к ним после случившегося, и продолжал во всем обвинять командира зенитчиков, ни в чем не хотел уступать ему. Он, как прикрывающий, должен был прийти первым. Не идет, зачем же пойду я?.. То, что речь шла об интересах боя, о победе над врагом, о жизни наших людей, — все это, как ни страшно произнести, затмила амбиция.

— Собирайтесь, — строго приказал полковник Алексеев.— Сам буду знакомить вас. Удельные князья!

Командир зенитчиков Лопухов встретил нас у своей землянки.

— Видели этого командира? — спросил Алексеев Лопухова.

— Впервые вижу!

— А вы его?

— Тоже впервые.

— Знакомьтесь, — мы пожали друг другу руки.— И чтоб закрепить дружбу навечно!.. После, после, — спохватился полковник, видя, как обрадованно и своеобразно мы восприняли его намек. — Когда уеду, можете и закреплять. А сейчас пойдем по батарее.

С Агапом Лопуховым мы действительно подружились, хорошо взаимодействовали в боях, и после войны я встречался с ним как с хорошим другом.

А «проблема» с Ишиным разрешилась неожиданно и своеобразно.

8 октября на батарею внезапно прибыл командующий флотом. В этот день прекратился долгий осенний дождь и настала необычная для Заполярья теплая солнечная погода. Весь флот любил и глубоко уважал своего молодого командующего, самого молодого из адмиралов. Пожалуй, не было на флоте боевого офицера, которого не знал бы Арсений Григорьевич Головкин. И не было, наверное, матроса, не видевшего своего командующего. Его встречали не только на палубах и в кубриках кораблей, не только на пирсах Полярного, не только в Доме флота, но и на береговых батареях, и в морской пехоте.

Встретив командующего на подходе к батарее, я представился и повел его на оружейные позиции. По дороге адмирал расспрашивал о жизни на полуострове, интересовался нашими хозяйственными делами, поднял потерянную кем-то подметку и, повесив на израненный куст, пошутил, что в хозяйстве сейчас все пригодится.

Навстречу нам попался старший лейтенант Ишин. Четко, как он это умел делать, Ишин отдал командующему честь. Арсений Григорьевич спросил у меня, кто этот офицер, как служит. Я сказал, что служит он посредственно: много гонора, ссорится с помощником командира батареи.

— Кто помощник?

— Лейтенант Игнатенко. Еще не награжден. А Ишин старший лейтенант, имеет орден Красного Знамени и возмущен, что его заставляют подчиняться младшему по званию.

Спросив, как работает Игнатенко, командующий приказал передать, что отныне он старший лейтенант и награждается орденом Красного Знамени.

— А вы в каком звании? — Адмирал не мог видеть моих знаков различия: на мне был маскировочный халат. — Запишите, — приказал командующий адъютанту, услышав, что я старший лейтенант.

Прощаясь, адъютант тихо и многозначительно сказал мне:

— До свидания, товарищ капитан.

Вскоре пришел приказ о присвоении нам соответствующих званий. Игнатенко был награжден орденом Красного Знамени, а Ишина перевели на новую должность. Расстались с ним без сожаления.

24 октября 1942 года мы получили радостную телеграмму:

«Н-ская батарея — Космачеву, Николаеву {2}, Поночевному, Соболевскому. Поздравляем личный состав батареи с высокой правительственной наградой. Вы показали образцы мужества и умения драться с врагом. Вы отлично выполняете свой воинский долг перед любимой родиной. Военный совет уверен, что ваши удары по врагу будут еще сильнее. Слава советским артиллеристам! Командующий Северным флотом вице-адмирал Головкин. Член Военного совета дивизионный комиссар Николаев».

«Старушка», которой до Соболевского командовали мы с Космачевым, стала Краснознаменной.

{1} Лейнер — внутренняя стальная труба, образующая канал орудия.

{2} В то время заместитель командира дивизиона по политической части.

## НОЧНОЙ БОЙ

Наступили длинные полярные ночи. Светлого времени почти не бывает. Чуть засереет горизонт, едва нацелимся стереотрубами и биноклями на море, на черную изломанную кромку побережья той стороны, только приглядимся к мысам, бухтам, высоткам и тяжелым холмистым волнам, и опять ночь сужает поле зрения, окутывает все таинственной мглой. Чем ближе к концу года, тем более условным становится понятие времени: ночь днем, ночь и ночью, если не светят луна или северное сияние. В лунные ночи и при сполохах северного сияния, когда сверкают необъятные белые просторы, кажется, все видим, и видим далеко. Снега в этом году очень много. Наша батарея похожа на подснежный город. Противник может засечь нас только по вспышкам выстрелов. Но и это нелегко — в светлое время стреляем бездымными, а ночью беспламенными порохами.

Это моя третья полярная ночь. Предвоенная была испытанием нервов южанина на Севере, проверкой выдержки, духа, пыткой тоской, однообразием, оторванностью от мира. В ту ночь я был кудрявым самонадеянным юношей. Вторая ночь — военная — не только лишила кудрей и остудила излишний пыл, но и поубавила самонадеянности, обогатив опытом пережитого. Все мы повзрослели в горестях потерь, в ошеломляющем развороте войны, в тревоге за родных, попавших под иго оккупантов. Повзрослели от ярости и бессилия: под самым носом у нас враг проводил конвои в Лиинахамари и Петсамо. Нет, мы не были пассивны в то время, каждый готов был закрыть ему путь своим телом. Но мы сидели тогда в кромешной тьме с одним несчастеньким прожектором, с полуразбитыми, истерзанными в сражениях старыми пушками. И вот моя третья ночь на Севере.

Генерал Кабанов строго предупредил: того, что было в прошлом году, командование Северным оборонительным районом не допустит. На



полуостровах уже не одна батарея, а дивизион морской артиллерии, не один прожектор, а мощная прожекторная рота, не самодельные зенитные «установки», а сильное артиллерийское прикрытие с флангов. Позади нас стоят орудия дивизиона Кокорева, подавляющие нашего артиллерийского противника. И позиции у нас новые, и пушки дальнобойные, да к тому же появилась таинственная ТПС, возможности которой мы еще не знаем, хотя понимаем, что это наше ночное зрение. Словом, нам дано все, чтобы в эту полярную ночь по-настоящему заблокировать Петсамо и его преддверие Лиинахамари. Теперь никто не простит, да мы и сами себе не простим, если фашистские конвои безнаказанно пройдут мимо наших берегов. Суть не в угрозе, прозвучавшей в словах генерала, и не в страхе перед наказанием. Летом и весной мы поняли, какой урон общему делу был нанесен в ту полярную ночь. Я рассказывал, как мучительно переносили мы вынужденное бездействие. Но только летом, когда почти прекратилось движение фашистских конвоев по заливу, ощутили, что означало для фронта зимнее бездействие: враг накопил боеприпасы и продовольствие, обновил и укрепил свои силы. От наших действий в нынешнюю полярную ночь зависело в 1943 году положение сухопутного фронта на Муста-Тунтури.

Люди на батарее отличные. В недавних боях успели узнать друг друга. Но на главном участке — в огневом взводе постоянные замены. Там основные потери. Туда приходится посылать новичков. Это осложняет работу орудийных расчетов, от которых мы требуем максимальной быстроты, сообразительности и слаженности. Осваиваться, притираться друг к другу нет времени. Все должно происходить на ходу. В этом трудном деле Ишин ничем не помог командирам орудий. Его заменил лейтенант Николай Ляшок, офицер спокойный и рассудительный, работой которого Игнатенко доволен. В огневой взвод зачастил Николай Трофимович Ковальковский, старшина батареи и секретарь нашей партийной организации. Ковальковскому не надо напоминать, какой из участков нашей жизни требует больше всего внимания в данное время. Возможно, ему кое-что подсказывает Виленкин? Ковальковский всегда там, где туго. В свое время, когда я отругал дальномерщиков и стал пользоваться данными дальномера соседей, Ковальковский зачастил к Пивоварову. Молчаливый и сдержанный по натуре, он ходит в подразделения не для того, чтобы подстегивать и агитировать. Он привык помогать делом, благо в совершенстве знает артиллерию. В успехах дальномерщиков Пивоварова, опознающих теперь цель на предельной дистанции, немалая доля и труда парторга. Но где нужно, Ковальковский находил и меткое слово. Слышал я, как убедительно, с цифрами, с примерами объяснял он новичкам, что такое для фронта каждый потопленный транспорт. «Это выбитый из строя фашистский полк с вооружением и техникой. Это успех, равноценный усилиям иной дивизии в многодневных боях. Это брешь в боевых порядках врага», А для бойца самое главное в момент боя — сознавать общегосударственную важность его ратного труда.

Ковальковского у нас любят. В атмосферу командного пункта он вносит дух собранности и спокойствия, хотя в минуты боя так загорается, что окружающие физически ощущают клокочущую в нем ярость. Николай Трофимович — член партии со стажем, я — молодой коммунист. Но подчиненность по службе не сковывает его, не мешает быть подлинным партийным вожаком. Природный ум и такт помогают этому человеку найти правильную линию поведения, так поставить себя, что с ним, старшим сержантом, считаются не только рядовые матросы, но и офицеры батареи.

С Виленкиным работать тоже хорошо, хотя подчас и трудновато. Он бывает не только мягким, мудрым, но и резким. Чувствую его старшинство не только по возрасту, но и по знанию жизни, хотя комиссар никогда не ущемляет меня как командира и единоначальника.

Не все, разумеется, шло у нас гладко. Были на батарее свои радости и огорчения. Установили новые приборы для управления стрельбой. Теперь легче наводить орудия на цели, эффективнее будет огонь. Но из дивизиона пришел приказ строить новый командный пункт. Я предложил использовать действующий, а рядом поставить центральный пост. Более подходящего места, помоему, здесь нет. Штаб же дивизиона настаивал: строить КП на открытой возвышенности. А туда нет скрытых подходов. Утешали, что шесть накатов бревен не возьмет ни одна бомба. Пришлось строить, хотя и обидно повторять старые, уже как будто осознанные ошибки. С каждым днем все выше и выше поднималось над землей перекрытие боевой рубки нового командного пункта. С флангов она напоминала бомбардировщик, оторвавшийся от земли. С каждым приезжающим гостем у меня происходил примерно такой диалог:

—Что у вас там?

— Моя могила...

— Нет, в самом деле?

— В самом деле, должен быть КП батареи.

— Почему «должен быть»?

— Потому что его там не будет: разобьет противник,

— Зачем же строите?

— Не могу знать. Вот если начальству придется там сидеть...

Владимир Иванович Комаров, присланный из штаба инженер-строитель, с которым мы крепко дружили, понимающе утешал: ничего-де, капитан, укрепим... Но мы ученые! Решили твердо: на этот показатель КП не пойдём!

И вот ноябрь. День за днем бои. 3-го потоплен транспорт. Батарея израсходовала 76 снарядов, противник бросил в нас 75. 11-го били осветительными по катерам. 12-го стреляли по Лиинахамари и по прожектору противника, освещавшему наши катера на подходе к вражескому берегу. 13-го стреляли по баржам, пробиравшимся вдоль побережья под прикрытием дымовой завесы. Выпустили 6 снарядов, получили в ответ 23. 14-го били осветительными по переднему краю обороны гитлеровцев. 15-го потопили танкер водоизмещением 8—9 тысяч тонн. Израсходовали 103 снаряда, 272 упали на нас. 17-го стреляли осветительными по переднему краю обороны немцев. 18-го повредили фашистский транспорт, не дали ему пройти в Петсамо. На 36 снарядов гитлеровцы ответили почти сотней. 19, 20, 21-го били осветительными по переднему краю немцев на Муста-Тунтури...

Это выписки из случайно сохраненного конспекта доклада партийному собранию батареи, оно состоялось позже, в декабре.

Противник в те дни явно разведывал наши возможности, готовясь к прорыву в порт. Мы чувствовали это и ждали. Время работало на них. Средняя видимость в начале ноября достигала днем 80, а ночью — 70 кабельтовых. К декабрю она сократилась до 50. Участились снежные заряды. Не помогали даже осветительные снаряды — корабли шли вне района освещения. Горящие звездочки сегментных снарядов ослепляли наших же наводчиков. С пользой для дела можно было освещать только вход в Петсамо, но надо было поражать транспорты до того, как они проберутся к этой точке. Бить у входа — крайность и риск. Вся надежда на прожектористов Шубина. И надеялись мы не зря. В соответствии с наставлением прожектор должен на 50 кабельтовых освещать такую крупную цель, как линкор. Наши прожектористы доставали на 90 кабельтовых. Они давали нам возможность видеть даже малотоннажные баржи и катера.

Генеральным испытанием для батареи был бой в ночь на 30 ноября, ставший значительной вехой нашей боевой истории.

В недолгие светлые часы на самых высоких вершинах той стороны возникли белые островерхие облака. Разрастаясь, они сползали к заливу и вскоре слились в сплошную пелену. Туман скрыл от нас не только занятый врагом берег, но и часть моря перед ним.

Было совсем темно, когда я вернулся после обхода землянок на командный пункт. По батарее дежурил Ко-вальковский.

— Почему не светят прожектора?

— Туман, товарищ командир. Все равно ничего не увидишь.

— Туман у берега. Корабли могут пойти вне тумана. Передайте Шубину: немедленно начать поиск.

Ковальковский протянул руку к телефону. Тут же раздался звонок: нас вызывал начальник штаба СОРа Туз. Он сообщил, что в Лиинахамари под погрузкой стоят транспорты, и приказал немедленно произвести огневой налет на причалы.

Причалы порта — знакомая для нас цель. Батарея открыла огонь. А прожекторные станции тем временем начали поиск в море, не только у выхода из порта, но и на дальних подходах к нему. Мы понимали, что, пользуясь благоприятной погодой, немцы попытаются одновременно и грузить корабли и проводить в порт транспорты.

Так оно и оказалось. Вахтенный сигнальщик Дюков уже докладывал раньше, что слышал гудки кораблей. Он первый увидел в луче прожектора крупный транспорт. Дюкова тотчас поддержал Пивоваров: дистанция до пойманного прожекторами транспорта — 40 кабельтовых.

Великое дело единая телефонная связь в бою. На голове у каждого наушники, мы слышим друг друга и, если провода не перебиты, знаем все о ходе боя. Расстояния между нами большие, а чувствуем себя в одной шеренге, локоть к локтю. Если надо, словечком, возгласом, шуткой подбадриваем друг друга.

Как эхо откликнулись на мою команду командир четырёх орудий и, конечно, раньше всех Саша Покатаев. Он старожил полуостровов и понимает, раз пришел на батарею вместе с командиром, значит, надо тянуться изо всех сил и быть впереди. Второе — цель. Первое — цель. Третье, четвертое... Все орудия наведены на цель, матросы ждут команды. Игнатенко быстро произвел подсчеты, передал поправки. Залп!

В который раз содрогнулась земля, а привыкнуть мы никогда, наверное, не сможем. Сердце отсчитывает секунду за секундой: полет снаряда, падение, взрыв — видимый нами взрыв, означающий попадание.

Транспорт шел вдоль самой кромки тумана и, попав в луч прожектора, сразу отвернул вправо. Еще мгновение — и его скрыл бы туман. Но именно в это мгновение грянул наш залп. Плавающий транспорт спешил уйти за спасительную завесу. Мы продолжали бить вдогонку. Но туман есть туман — мы стреляли наугад, по площади.

Первый признак всякой нашей удачи — ответный огонь врага. Он с остервенением набросился на наши позиции. Мы замолчали. Конечно, временно. Тогда враг переключился на прожектора. Но тактика Шубина и проста, и хитра, и даже коварна: гаснет один луч, загорается другой. Противник не успевает пристреляться и не может уловить закономерности в чередовании

лучей. То ли погас луч после попадания в прожектор, то ли это маневр. Как артиллеристы, мы отлично понимали состояние врага: не стрельба, а нервотрепка. Для такого маневра Шубину надо не только хорошо владеть собой, но и отлично обучить людей в роте, блестяще натренировать их.

В начале этого боя Шубину приходилось туго. До кромки тумана всего 40 кабельтовых. Упрется луч в сизую стену — и конец... Но он хорошо изучил тактику фашистов, был удивительно спокоен, терпелив.

Мы тоже напряжены до предела. Даже Покатаев, привыкший шутить во время боя, сегодня молчал. Мы чувствовали, подожженный транспорт не одинок, цель будет, должна быть!

На второй транспорт нас навела теплопеленгаторная станция. Игнатенко, поддерживающий связь с ТПС, обрадованно сообщил: на пеленге 239 очень большая цель.

Не видно ни зги, но координаты цели известны. По заранее отработанному плану мы с Соболевским и Захаровым поставили мощную подвижную заградительную завесу. Через такую завесу не пройти. Перед капитаном выбор: либо рискнуть, полезть под огонь, пойти почти на верное самоубийство, либо повернуть назад.

Через пять минут ТПС потеряла цель. Значит, отвернули, отказались пока от попытки прорыва.

И тут неожиданно для противника, да и для нас, переменилась обстановка. Наши снаряды разогнали, вернее, разорвали туман. Подувший с востока ветерок погнал порванную завесу на вражеский берег. Открылось море. Вот когда стало вольготно прожектористам! Луч достает до бухт и мысов той стороны. Есть где поискать, пошарить!

Но именно в этот столь благоприятный момент позвонил начальник штаба дивизиона Уваров и приказал выключить прожектора.

— Почему?!

— Должны быть «маленькие».

— Ясно. Шубин — рубильник!

Все разом погасло. На море стало до жути темно. Батареи противника немедленно прекратили огонь.

— Там должны быть наши торпедные катера, — почувствовав немой вопрос окружающих, пояснил я.

Морозная ночь. Стужа проникает в открытые смотровые щели боевой рубки. Но отойти нельзя ни на секунду. Если флот послал сюда катерников, дело пахнет большой добычей.

Разрешаю командирам орудий отпустить часть матросов на перекур за орудийные дворики.

Вестовой Степушонок по-своему воспринимает приказ: приносит мне набитую табаком трубку и шубу. «Давно пора», — ворчу я, довольный сообразительностью вестового. Возня с трубкой на минуту отвлекла от смотровой щели. Закурив, услышал голос наводчика кошелевского орудия Николая Курочкина:

— Товарищ командир, у Ристаниеми пожар...

Взглянул в стереотрубу. В бухточке за мысом что-то горит, но пока неясно: на воде или на берегу.

— Вот и фрицы греются! — рассмеялся Покатаев.

— Мало им дали... — откликнулся строгий и деловитый во время боя Кошелев.

— Добавим? — слышу хитроватый возглас командира четвертого орудия Игумнова и, кажется, вижу, как ухмыляется этот рыжеватый, очень подвижной сержант.

Переключку приходится прервать,

— Смотреть внимательно! Это не костер. Видите отражение в воде?..

Огонь за Ристаниеми озаряет все большее пространство. Мы четко видим отражение на воде кормы транспорта. Об этом докладывают и наводчики, и сигнальщики. Звоню в дивизион Уварову, прошу разрешения включить прожектора.

Нельзя! Где-то там, во тьме, затаились наши. Подстерегают добычу или, может быть, высадили разведчиков и теперь дожидаются их сигнала. Приказано добить врага без помощи прожекторов.

Стреляем экономно, лишь вторым орудием. Первый снаряд падает с перелетом и зажигает что-то на мысу. Второй — вздымает огромный столб воды, ясно проецируемый на фоне горящего транспорта. А третий — прямо в транспорт, прямо в огонь. И тут же — взрыв. Пламя ослепило нас на расстоянии десятка километров. На батарее все, даже юный Иван Оносов, ставший, кстати сказать, хорошим наводчиком, понимают, чем гружен транспорт: взорвались боеприпасы.



И снова с того берега нас молотят снарядами. Но мы опять молчим. Затаились и ждем.

Упрашиваю Уварова разрешить воспользоваться прожекторами, надо проверить, не ведут ли немцы спасательных работ! Уваров спрашивает, где наши катера.

— Не вижу и не слышу...

— Светите. Но только левее Ристаниеми.

Луч прожектора шарит по морю. Транспорта нет. Очевидно, затонул. Вновь вступает в телефонную переключку Кошелев и тут же по-деловому поправляет:

— Взорвался и затонул.

— Есть кормежка для трески, — подает реплику Покатаев.

Игумнов, а за ним усатый красавец великан Косульников, командир третьего орудия, обещают «добавить, если мало».

Я опять обрываю переключку: нельзя отвлекаться. Шубину приказываю медленно вести луч влево. Командиров орудий спрашиваю, как у них со снарядами? У всех, кроме Покатаева, остались только полубронебойные. Стрелять такими по транспортам мало смысла: они пробивают борта навывлет и разрываются в воде. Нам же нужны разрывы на самом судне, мы должны не пробивать корпус, а зажигать его.

До снарядных погребов — 300 метров, их надо пробежать под обстрелом. Подносчики уже бросились за осколочно-фугасными. У Покатаева два снаряда еще в запасе.

А счет идет на секунды. Едва вернулись подносчики, прожектористы уже нащупали цель — глубоко сидящую темную громаду. Транспорт, видимо, нагружен до отказа. Он полным ходом идет в Петсамо. 12 лучей скрестились на белом, выкрашенном под снег корпусе.

«Красят в белый цвет, значит, ходят, прижимаясь к приглубым берегам Зарангерфиорда». Ручаюсь, так подумал в тот момент каждый из артиллеристов. А белый транспорт, ведомый скрещенными лучами, напоминал пойманный в небе самолет. Впрочем, самолету, пожалуй, легче увернуться, ускользнуть. Транспорт не уйти от лучей, если не прозеваем, если успеем поразить его до подхода к порту.

А на орудиях еще нет осколочно-фугасных...

Приказываю Покатаеву сесть за наводчика и двумя снарядами поразить цель!

Выстрел. Снаряд падает у самого борта.

В тот же момент вражеские батареи, пытаясь вызволить транспорт, обрушились вначале на прожекторные станции, а потом — на позицию второго орудия. Что творилось там! Я слышал голоса, ловил то слова Покатаева, то его вертикального наводчика. По тону реплик представлял, что происходит в том аду. Я был готов вмешаться в нужную минуту, помочь, хотя знал: если Покатаев жив, он справится сам.

Снаряды рвались совсем рядом со вторым орудием, и осколки, очевидно, залетали в дворик. Вот Покатаев похвалил зарядного Черникова. Это его и Николаева считали у нас раньше «тюхами-матюхами». Черников не только освоился, привык к боевой работе. Делает все весело, а главное — с неожиданной для былой репутации быстротой... «Что с тобой? — спросил кого-то Покатаев и тут же приказал: — Заменить установщика!» Пауза, идут какие-то переговоры, потом снова в наушниках голос Покатаева. Ранен в руку установщик прицела и целика Николаев, но просит оставить его на посту... И тут же раздалась новая команда Покатаева: «Заменить снарядного!» Тяжело ранен снарядный Фролов. Черников вызвался работать зарядным и снарядным.

Обо всем этом рассказываешь дольше, чем оно происходило. Вслед за первым снарядом Покатаев послал второй. Над палубой транспорта взметнулось пламя, он замедлил ход и, потеряв управление, стал крутиться на месте. Теперь по нему били уже и другие наши орудия и батарея Соболевского. Даже артиллерийский мастер Петр Иванович Голястиков, всегда участвующий в бою, поднес на третье орудие свой, персональный снаряд, оказавшийся осветительным. Ничего, пусть будет осветительный, Голястикову надо посчитаться с фашистами...

Через 20 минут после первого попадания транспорт разломился и затонул. В небо поднялся пар. Прекратив огонь, мы выключили прожектора. Опять на море тьма и тишина,

Итак, два есть. Но где третий, обнаруженный тепло-пеленгаторной станцией и обстрелянный нами вслепую? Ушел назад, отказался от надежды дойти до порта?

Нет, не ушел! Пробираясь в порт, он заблудился в тумане и ожидал конца боя. Внезапно его обнаружил сигнальщик Глазков. Транспорт горел. Скорее всего, в него попал один из наших снарядов, но команде удавалось до поры до времени сдерживать огонь. Теперь пламя факелом вырвалось над палубой и обозначило недобитую цель. Светить прожекторами в тот район запрещено. Опять приказано действовать без помощи Шубина.

В пятый раз в эту ночь 140-я батарея открыла огонь по противнику. Я знал: сейчас можем бить только мы, другие не достанут. Пристреливались, как по неподвижной цели, одним орудием. Мы не видели перелетов. Зато отлично замечали проецируемые на фоне горящего транспорта недолеты. Один снаряд угодил в его борт.

Но что это?.. То справа, то слева от транспорта появляются всплески. Позвонил Соболевскому, Захарову.

Они не ведут огня. Мы тоже прекратили стрельбу. Все ясно. Это бьют немецкие батареи. Транспорт дрейфует к полуостровам в район Пуманок, и немцы сами решили потопить его, чтобы не оказался в наших руках.

Этот транспорт, несмотря на попадание наших и немецких снарядов, долго держался на плаву. Течение вынесло его к острову Хейносаари, где он сел на мель.

С рассветом вахтенный сигнальщик обнаружил на море множество плавающих предметов. Тюки прессованного сена, бочки со спиртом, ящики со всяким военным имуществом — море завалило весь берег трофеями. Там уже орудовали интенданты из морской пехоты.

Виленкин от кого-то узнал, что подобран даже аккордеон, наша мечта. Он заверял, будто уже переговорил с генералом и тот обещал подарить аккордеон нам.

А Николаева вместе с Фроловым пришлось все же отправить в госпиталь. Рана только казалась пустяковой, Николаев оставался в строю до конца боя, а после боя наш военфельдшер, лейтенант медицинской службы Владимир Иванов настоял на его эвакуации.

Три транспорта за ночь. Это около 20 тысяч тонн груза! Настроение отличное. Матросы повеселели, подшучивают друг над другом, хотя и устали чертовски. Алеша. Алексеев — наш шутник Цыганок вслух мечтал соснуть. Но вот-вот подоспеет завтрак, все в этот день рассчитывали на особое старание нашего повара Кузнецова. А пока Алексеев поддевал своего товарища наводчика Любимова, спрашивая, не осталось ли у него под матрацем салца. Любимов все еще обижался, хотя пора бы к этим шуткам привыкнуть. Случился с ним когда-то грех, стащил у повара из кладовой кусок сала, а старшина нашел это сало у него под матрацем. Любимова осудили тогда перед строем; воровства, даже такого, казалось бы, невинного, у нас не прощали. Теперь он уже стал отличным наводчиком, его считали исправившимся, но Алексеев, любитель розыгрышей, продолжал дразнить товарища. У Цыганка это называлось «отучать кота от сала горчицей».

1 декабря к нам приехал на разбор ноябрьского боя начальник штаба Северного флота адмирал Кучеров. На командный пункт собрались офицеры всех батарей и штаба дивизиона. Начальники постов службы наблюдения и связи, видевшие бой со стороны, подтвердили все наши данные. Адмирал приказал командиру дивизиона представить к награде отличившихся.

— Три транспорта неприятеля, потопленные в течение одного боя! Такого результата еще не знает история береговой артиллерии! — сказал в заключение начальник штаба флота.

Об этом бое стали писать в военных газетах. Нам присылали поздравительные письма, частушки, стихи. Даже «мыльный пузырь», наш банно-прачечный отряд, прибывший через несколько дней с концертом художественной самодеятельности, отразил это событие в своей программе. Что и говорить, все это радовало наши сердца.

Но итог ноябрьского боя взбудоражил и противника. Помимо артобстрела начались даже ночные бомбежки. Гитлеровцы явно искали новых методов борьбы с батареей. Туман в ту ноябрьскую ночь им не помог. На дымзавесы тоже не очень-то приходилось рассчитывать: зимой дуют северо-восточные ветры, они быстро сносят дым обратно на берег противника.

И вот в начале декабря немцы применили новинку — отсекающую световую завесу. Из глубины залива Петсамо параллельно нашему берегу врезался в море мощный луч. Перед нами возникла белая слепящая стена, позади которой могли проскользнуть корабли. Шубин включил все свои прожектора, но и они не проббили завесу. Луч упирался в луч, а что творится по ту сторону, мы не видели. До входа в Петсамо 68 кабельтовых. На таком расстоянии прожекторам трудно преодолеть встречную световую завесу. Мы попытались сделать это, сгруппировав лучи. Не помогло. Теплопелеигаторная станция цели не чувствовала. Было от чего растеряться!

Мы решили схитрить и разом выключили все прожектора. Только луч противника по-прежнему дрожал над волнами фиорда. Но и в новинке гитлеровцев был просчет. Луч шел из Петсамо и отлично освещал вход в залив. Неприятельские корабли неизбежно должны были пересечь освещенное пространство. Мы и рассчитывали воспользоваться этим.

Развернули орудия, подготовились открыть огонь по входу в залив. Чтобы скрыть свой замысел, притворились, будто продолжаем борьбу со световой завесой, и время от времени включали и выключали прожектора.

И опять отличился Глазков. Он первым увидел черный силуэт транспорта, пересекавшего освещенную полосу. Открыли огонь вместе с батареей Соболевского. Судно загорелось, но успело скрыться за мысом Нууриями.

Противник тотчас погасил световую завесу, а наши прожектора осветили море. Оно было чистое и почти спокойное.

Космачев не доволен нами, и это справедливо. Правда, времени для поражения цели было мало и не широка освещенная полоса. Но мы хорошо видели цель и должны были быстрее сосредоточить на ней огонь. Виленкин, конечно, поддержал командира дивизиона. «Не поджигать надо, а уничтожать», — повторял он свою любимую фразу.

Пришлось крепко задуматься, как бороться с прожекторами противника. Помощи решили просить у нашего постоянного и верного защитника Кокорева. Слепящий свет на море был тогда страшнее огня батарей. Попросили Кокорева бить не по батареям, а по прожекторам врага.

Немцы с тех пор отказались от световых завес. Видуо, догадались, что мы подожгли транспорт с их же помощью. Но они по-прежнему пытались ослеплять нас.

В следующий раз над нашими позициями повисли осветительные снаряды на парашютах. Такой снаряд освещает местность в радиусе до пятисот метров. А дальше мгла. Наводчики ослеплены. Единственный выход — превратить ночь в день, раздвинуть границы полной освещенности. Шубин отлично выполнил это, включив все пятнадцать прожекторов. Посреди освещенного моря так внезапно и четко возник транспорт, что мы поняли: немцы не ожидали такого хода событий. Судно уверенно шло в темноте, считая себя в полной безопасности. Мы быстро потопили его.

Зато вся месть, вся ярость вражеской артиллерии достались теперь Шубину. Он погасил прожектора, но противник еще долго продолжал бить по его позициям и забрасывать нас осветительными снарядами.

В декабре мы провели, как я уже упоминал раньше, партийное собрание, обсудившее итоги первых зимних боев. Комиссар предложил мне сделать доклад и разобрать не только все стороны нашей и противника тактики, но и поступки отдельных батарейцев. Я подготовил подробный анализ и наших действий, и действий батарей противника по нашим позициям. Снарядов за эти первые месяцы полярной ночи на нас брошено сотни. Фашисты пристрелялись по направлению хорошо, боковое отклонение не превышает пятнадцати метров. Но большинство немецких снарядов падает с недолетом. За три месяца было три попадания: в щит второго орудия, в дворики первого и второго орудий. У нас есть все основания считать артиллерийские налеты врага не столь уж опасными, если будем по-прежнему хорошо маскироваться. Я разобрал и наши успехи и наши просчеты, особенно недостаточное умение управляющих огнем быстро сосредоточить огонь на цели.

Что давало такое собрание всем нам, и в первую очередь матросам, в условиях войны? Прежде всего ощущение ответственности за общее дело и понимание того, что происходит на батарее и в дивизионе. Боец день и ночь занят на своем посту и не может знать всего, чем живут другие подразделения, другие посты. Доверие и серьезность, с которыми мы вводили людей в курс общего дела, очень сближали и сплачивали нас. Как командир, я чувствовал это острее других.

## **НАШ КОМИССАР**

— Виленкин убит! — услышал я внезапно среди рокота и грохота, сотрясавших ночь над нашим побережьем, во время очередного боя.

— Что, что?! Кто говорит?! Повторите, кто говорит!..

— Докладывает наводчик Курочкин со второго орудия. Убит капитан Виленкин.

— Не верю. Где Покатаев?

— Сопровождает комиссара.

— Где комиссар?

— Унесли мертвого на первое. В землянку Кошелева.

Меня затрясло. Чувствую, что немеют руки.

— Что с комиссаром?—взволнованно спросил Игнатенко, догадавшись по моим вопросам и состоянию о происшедшем.

— Говорят, убит. Не верю!

Я посадил Володю Игнатенко на свое место у стереотрубы, а сам бросился в землянку первого орудия.

...Это случилось январской ночью сорок третьего года. Противнику везло в ту ночь: не надо было ставить отсекающих световых завес, не требовались и осветительные снаряды. Едва ощутимый ветерок с юга медленно гнал в нашу сторону седую испарину, выжатую из моря морозом. Штиль позволил немцам поставить плотную, устойчивую дымовую завесу, по которой долго и беспомощно скользили лучи наших прожекторов. Ни прожектора, работавшие в эту ночь под непрерывным обстрелом, ни тепlopеленаторная станция не могли никак нащупать цель, и мы дожидались счастливого мгновения, хоть тени, хоть признака цели, готовые тотчас ударить по ней, а также поставить



заградительную завесу у входа в порт. Противник в конце концов обнаружил себя черными клубами дыма, обозначившими его место на фоне белой дымовой завесы. По этому месту мы и били из всех четырех орудий, и даже зажгли снарядами этот транспорт, заставив его свернуть с дороги в порт. Фашистская артиллерия, конечно, навалилась на нас и, как всегда, больше всего на второе орудие, стоящее в центре батареи. В разгар этой заварухи в наушниках и раздались слова о гибели комиссара.

Виленкин всегда во время боя уходил на боевые посты к матросам. В тот раз я не видел его даже перед боем. Он был занят скучным и нелюбим делом — давал пояснения очередному проверяющему, редкому гостю на передовой, знавшему нашу батарею только понаслышке, и потому нудно придирчивому, вникавшему не в боевую жизнь, а в формальное выполнение всевозможных инструкций и предписаний от такого-то и такого-то числа. Занятый по горло и, как все на батарее, почти не знавший отдыха, Виленкин терпеливо водил представителя по землянкам, устраивал показательные беседы и сожалел, что нет жаркого боя. Показать бы редкому гостю, в каких условиях по-настоящему ведется политработа, каков идейный и моральный закал наших бойцов! Сигнал боевой тревоги застал обоих за очередной беседой в землянке огневого взвода. Виленкин предложил представителю продолжить инспекторскую работу непосредственно на боевых постах и повел его на второе орудие.

Еще до того как мы обнаружили цель, мне сообщили, что комиссара с проверяющим видели на открытой местности под огнем. Комиссар стоял среди снежного поля и показывал рукой на море, что-то объясняя спутнику. А тут начался бой. Вместе с гостем Виленкин добежал до второго орудия. Во время боя я дважды слышал сердитый голос Покатаева: «Товарищ капитан, слезьте, там опасно!» — и понял, что Виленкин стоит на бруствере. Видимо, продолжал пояснять представителю, что происходит на море.

Так оно и было на самом деле. Комиссар находился там же, где его ранило в прошлый раз. Но тогда этот безумный риск был вызван необходимостью; отсутствовала связь орудия с КП, комиссар помогал матросам ориентироваться в обстановке, помогал воевать и подбадривал личным примером. А сегодня он был экскурсоводом...

Я прибежал в землянку первого орудийного расчета.

Виленкин лежал на кровати Кошелева. Лицо забинтовано. Военфельдшер Иванов прикладывал к ногам раненого химические грелки. Жив!

— Как он? — тихо спросил я Иванова.

— Ничего, — бодро ответил военфельдшер, и при этом отрицательно покачал головой.

— Ты, командир? — чуть слышно спросил Виленкин.

— Я, комиссар, я!

— Гони с батареи ревизоров...

Виленкин потерял сознание. Его увезли в госпиталь, в Восточное Озерко. Я позвонил Игнатенко и попросил сообщить на все орудия: комиссар жив!

— И еще передай всем: временно моим заместителем по политической части будет старший сержант Ковальковский.

Бой уже кончился. Горящий транспорт ушел от нас. К землянке Кошелева молча потянулись матросы со всех орудий.

Кошелева не узнать: осунулся, помрачнел. Он знаком с Виленкиным давно... Вспомнился усталый, закутанный в плащ-палатку человек, который в дождь и распутицу привел к нам колонну новой батареи. Он показался мне тогда стариком. Нет теперь с нами «старика». Не уберегли...

Представитель быстро исчез с батареи. Я готов был винить всех, кто так или иначе причастен к беде.

— Хоронить комиссара рано, — сказал я притихшим матросам. — Будем каждый день справляться о нем. Завтра, если разрешат, навестим. Песен сегодня не петь...

Навестить Виленкина нам разрешили только через пять дней. У него тяжелое ранение в голову.

Вместе со мной в подземный госпиталь на берегу Восточного Озерка пришли Кошелев и Ковальковский. Комиссар не видел нас, но узнал каждого. Он долго расспрашивал Вениамина Кошелева о его бойцах, особенно о маленьком Субботине. Виленкин обрадовался, что его заместителем назначен Ковальковский, и тут же стал что-то советовать парторгу...

Сестра нас выгнала из палаты, как всегда выгоняют посетителей сестры, оберегающие тяжелых, отбиваемых у смерти больных. Выйдя с нами из землянки, она вспомнила, что наши бойцы — самые непокорные в госпитале, убегают, не долечившись. Был вот такой Мула Шакиров — тоже, исчез, и найти не смогли... Мы успокоили сестру: Мула Шакиров целехонек, сбежал он не куда-нибудь, а к нам же на батарею, воюет хорошо, хоть и весь в дырках, сбежал потому, что его признали негодным к строевой службе, а попасть в обозники не хотел. Начальника госпиталя мы обо всем известили, так что все в порядке... Мы задабривали сестру, как могли, хотели помочь нашему комиссару.

Виленкина вскоре вывезли с полуостровов на Большую землю. Наш комиссар выжил. Но мы не знали, вернется ли к нему зрение. На место Виленкина прислали молодого неопытного лейтенанта. Он недолго пробыл у нас: с установлением единоначалия должность политруков на батареях упразднили.

Душой батареи, ее комиссаром, по-прежнему оставался наш парторг Ковальковский. Его уважали и любили бойцы. Ковальковский ежедневно обходил землянки. Завидя парторга, кто-нибудь всегда повторял одну и ту же шутку:

— Полундра! Все наверх! Идет наш «аббат»! Ковальковский знал, что батарейцев больше всего

волнует положение на фронтах, особенно там, на Волге, где воюют и наши матросы. Он завел себе карту, на которой ежедневно отмечал по радиосводкам линию фронта. Длинный, тощий и на вид строгий, чем-то действительно похожий на аббата с книжных иллюстраций, он был самым желанным гостем в землянках. Обступят его матросы, обмусолят карту так, что впору на другой день раздобывать новую, погуторят про ход войны и про то, что «фрицам явно намечается хана». А потом затянут любимую песню. И запевалой всегда парторг.

Особенно много сил отдавал Ковальковский комсомольцам. С каждым днем на батарее появлялось все больше молодежи. Надо было помочь новичкам овладеть военными специальностями. А парторг первый понял, что это большое дело по плечу только комсомолу. Раненый комиссар не зря расспрашивал и его и Вениамина Кошелева о нашем лучшем замковом Николае Субботине. Мы, старожилы, хорошо знали Субботина. Ковальковский хотел, чтобы имя замкового стало известно всем. Он взял за бока комсорга батареи. Установщик прицела и целика Геннадий Хмелев был очень хорошим парнем и давним другом Субботина. Именно эта дружба и мешала Хмелеву взглянуть на своего приятеля со стороны. Геннадий обсуждал с Николаем всякие личные тайны, привык подшучивать над ним. И очень удивился, когда парторг предложил повесить на самом видном месте плакат, посвященный замковому Субботину. Потом Ковальковский заставил Хмелева устроить встречу новичков с Субботиным.

— Он ведь свой, а не заезжий артист... — попытался шутить комсорг.

Но Ковальковский не любил неуместных шуток. И он был прав. О нас много писали в газетах, мы гордились этим, наматывали себе на ус, а для самой батареи польза от такой популярности была невелика. Приятно — и только. Парторг толкнул нас на деловое изучение личного боевого мастерства, на то, что в мирное время мы называли изучением опыта.

Ковальковский исправил еще одно наше упущение, даже беду. Мало встречались мы с бойцами соседних частей, особенно краснознаменной батарее. Воевали рядом, в бою поддерживали близкий контакт, а вне боя — врозь. Конечно, больше всего был виноват в этом я, бывший командир «старушки». С присущим ему тактом парторг сумел разрядить «напряжение». Мы и соседи стали ближе друг другу. Это шло не только на пользу делу, а и повышало настроение матросов, что особенно важно в полярную ночь, когда люди остро переживают оторванность от всего живого.

В те дни к нам зачастили гости издалека. Приехали московские артисты во главе с Мирковым и Дарским. Потом поэты — Василий Иванович Лебедев-Кумач и Ярослав Родионов, композитор Константин Листов, кинооператор Сергей Урусевский.

Лебедев-Кумач прежде всего спросил о нашем знаменитом батарейном зайце. Оказывается, Лев Кассиль написал юмористический рассказ о том, как этот заяц чуёт появление самолетов противника раньше, чем их засекут посты ПВО. Пришлось рассказать, как зайчишку обидел плохой человек. Все тот же Ишин стукнул зайчонка, прыгнувшего к нему на колени. Дверь КП была открыта, и зверек исчез, к великому огорчению всех, и особенно Виленкина.

Зато теперь на КП целый зоопарк — полярная сова Соня, две пострадавшие от войны чайки, щенок Леди представители кошачьей породы, кажется, первые в наших широтах — кто-то завез к нам двух котят, мы прозвали их Русланом и Людмилой, но оказалось, что это две кошки. Сова успешно играла роль начальницы, и вся живность покорно подчинялась ей. Сначала она сама глотала кусочки сырого мяса, потом с мясом в клюве поворачивалась к Леди. Щенок осторожно брал кусочек из клюва совы и сразу его проглатывал. Вначале ему от совы доставалось — то клювом его стукнет, то когтями, то крылом, а потом помирились. Кошек сова не любила, и мясо им приходилось воровать. После кормежки дверь землянки открывалась, сова и чайки направлялись к выходу, навстречу свежему воздуху, сову кошки пропускали, но чаек заворачивали назад, в землянку. Сова забиралась на высокий камень и ждала там часа следующей кормежки — летать она тоже не могла: осколочек снаряда перебил ей крыло.

Весь этот зоопарк мы показывали гостям, и они понимали, какую радость доставляет нам в нашей скудной заполярной жизни все, отвлекающее от крови, смертельной опасности и смертельной тоски по родным краям, близким людям, по Большой земле.

Гости приехали не только беседовать с нами, не только фотографировать, расспрашивать, но и развлекать, веселить, ободрить добрым и страстным словом. Лебедев-Кумач читал в землянке второго орудия стихи и фельетоны, рассказывал про другие фронты, Листов играл на баяне и пел свои песни, пел и

Ярослав Родионов, прочитавший потом, к великому удовольствию всех, стихи, посвященные нашей батарее.

Я со стыдом вспоминал про полученное накануне от поэта Николая Панова письмо из Полярного. Я послал в редакцию флотской газеты свои стихи, подписанные псевдонимом «Днепровский» — под этим псевдонимом я напечатал несколько корреспонденции о боевых делах артиллеристов. Мне ответил из редакции Н. Н. Панов, он разругал, конечно, мои вирши на все корки и добавил, что с прозой, мол, у меня дела получше, в военном деле и артиллерии товарищ Днепровский, пожалуй, разбирается, так что надо продолжать знакомиться с жизнью артиллеристов и писать о них корреспонденции в газету. Критика задела за живое — кому хочется признать себя бездарностью, когда тянет писать стихи и кажется, что они лучше всех других; но послушал я настоящих поэтов и помрачнел — прав, пожалуй, Панов, лучше буду изучать жизнь артиллеристов и писать корреспонденции. А еще лучше — заниматься своим прямым делом, воевать.

Повоевать нам пришлось и при гостях. Концерт Мирова и Дарского закончился боем. Вечер Лебедева-Кумача, Родионова, Листова, Урусевского — настоящим сержением. Вместе с батареей Соболевского мы подбили тогда транспорт. Но и фашисты прямым попаданием поразили орудие у Соболевского. Там были убитые и раненые.

Так жили батарейцы в ту полярную ночь. Мы уже не чувствовали себя где-то на отшибе, в стороне от большой войны. Мы воевали по-настоящему и понимали, что находимся в гуще событий на правом фланге фронта. Рыбачий становился серьезным опорным пунктом флота, где скрещивались интересы самых различных родов оружия. Тяжелой была та ночь. Горьки все новые и новые потери. Но у людей росла вера в свои силы.

В феврале большая радость — наш артиллерийский дивизион награжден орденом Красного Знамени...

Март — месяц пурги, метелей, жестоких ветров. Трудно выйти из землянки, надо привязываться друг к другу, чтобы не заблудиться в двух шагах от жилья. Морские пехотинцы натянули между землянками веревки. Это возможно там, где люди селятся плотно, городком. Но стоит отойти от городка в сторону, и человек уже в опасности. «Матросский телеграф» разносит по полуостровам страшные истории о бойцах, замерзших в буран. Все стали осмотрительнее. Те, кто проводят не первую полярную ночь, учат новичков ориентироваться во тьме.

От землянок каждого орудийного расчета у нас пробиты под снегом туннели к орудийным дворикам. Это наш «метрополитен». Снега в нынешнем году так много, что удалось расширить и углубить туннели. По боевой тревоге в них

можно быстро бежать, хотя и согнувшись. А нашему «хитрому артиллеристу» Николаю Субботину не приходится при этом даже нагибаться.

Туннели прорыты для маскировки. Недолги светлые часы, но они есть, и мы помним об этом. Не забываем и о гитлеровцах. Они то навешивают над побережьем световые авиабомбы, то их артиллерия подбрасывает осветительные снаряды. В это недоброе светлое время враг не должен видеть чернеющих на снегу пятен и полос. И мы, кажется, добились того, что перед ним сплошной снежный наст.

Однажды в начале полярной ночи к нам приехала группа моряков Тихоокеанского флота во главе с членом Военного совета дивизионным комиссаром Захаровым. Показывая наше хозяйство, я подвел их ко второму орудию и сказал, что мы находимся в центре батареи. Гости не поверили — кругом белым-бело, сплошной снег. Приподняв заснеженный люк, я предложил спуститься в орудейный дворик подснежного города. Над двориками мы еще осенью натянули брезенты и надежно закрепили их. Брезенты выдержали легший на них слой снега. Тихоокеанцы пришли в восторг. Каждый военный человек понимает, что хорошая маскировка — гарантия безопасности для людей и батареи. Особенно это важно здесь, на скалистом берегу Варангер-фиорда, где очень сложно зарыться глубоко в землю.

Вторая военная полярная ночь прошла с большим успехом, чем первая. Теперь мы понастоящему воевали. Топили корабли противника, не дали действующей против нашего фронта группе войск накопить под покровом темноты боеприпасы и людские резервы. Мы научились использовать прожектора и тепlopеленгаторную станцию. Ноябрьская ночь сорок второго года, когда мы потопили один за другим три многотоннажных судна, надолго запомнится врагу. Но и после той ночи батарея пустила на дно не один танкер, не одну баржу, не один тяжело груженный фашистский транспорт. Порт Лиинахамари блокирован.

За зиму мы много поработали, помогая морской пехоте на Муста-Тунтури, которая активизируется на линии государственной границы. Мы, конечно, не знали, где и когда будут наступать морские пехотинцы, но разговоры об этом давно идут в землянках. Особенно усилились они после победы советских войск в битве на Волге. Гром этой битвы, докатившийся в Заполярье, очень взбудоражил нас. Мы жаждали активности, наступления. Там, на Волге, погиб, добывая великую победу, наш Миша Трегубов.

## **ЮНЕВИЧ ВЫЗЫВАЕТ ОГОНЬ НА СЕБЯ**

В землянках только и говорят о храбрости разведчиков из отрядов Виктора Леонова, Александра Юневича, Плотникова. Разведчики добираются на катерах



на тот берег и действуют за хребтом Муста-Гунтури. Мы ощущаем результаты их действий, получая точные координаты целей на суше — батарей гитлеровцев, их складов и боевых сооружений.

После памятного октябрьского боя, когда, стремясь уничтожить нашу батарею, противник в течение двух часов бросил на нее 872 снаряда, мы жили под жестоким огнем тяжелых вражеских орудий. Разведчики Юневича уже не раз ходили на ту сторону уточнять координаты гитлеровских батарей, необходимые нам для ответного удара, для самозащиты. Одновременно они добывали уточненные данные многих объектов немецкой обороны. И полковник Алексеев, готовя массированный артиллерийский налет на противника, собрал всех нас на своем передовом наблюдательном пункте. Прибыли командиры и полевых батарей, и морской береговой артиллерии. Цели за хребтом мы не видим даже в светлое время. Чтобы поразить их, надо сначала пристреляться по вспомогательной точке или, как принято говорить, пристрелять репер. Это дело полковник поручил нашей 140-й. В стереотрубу он показал мне черный камень на хребте, похожий на яичко. Рядом с ним, правее, был камень поменьше.

Левый камень — репер.

Полковник вручил мне координаты репера. Через несколько минут батарея начала пристрелку. Я командовал с НП Алексеева.

Точность огня морских орудий вызвала одобрение армейских товарищей.

— Чему удивляться? У них не батарея, а завод, — сказал Алексеев.

Да, у нас настоящий завод. Родина вооружила нас отличной техникой. Алексеев назвал нашу батарею заводом еще тогда, когда я водил его к высотке, где в скалу врыт шестиметровый дальномер. Проход к нему в то время еще не был построен. Приходилось ползти по неглубокой и узкой траншее, скрытой от противника маскировочной сеткой. Тучному полковнику трудно было влезть в эту нору. Он решил, что мы нарочно все так подстроили, чтобы не совалось начальство. Алексеев с трудом прополз 20 метров, отделявших его от дальномера. Увидев наше детище, он сразу забыл и о своих подозрениях, и о своем гневе — так великолепна была наша новая техника...

Через четыре часа после удачной пристрелки все наши батареи открыли огонь по разведанным целям. За Муста-Гунтури разлилось море пламени, отраженное в полярной ночи заревом, похожим на сполохи северного сияния.

На другой день туда пошла матросская разведка. Одного за другим разведчики Юневича и Плотникова привели трех «языков». Все они говорили о страшном артиллерийском налете и его результатах. Разведчики сами уточнили эффективность нашего огня. На месте ранее установленных ими объектов все было черно, даже снега, он лежал толстым, мощным слоем, — растаял до земли.

Потом нам приказали стрелять осветительными снарядами по высоте «Яйцо». Полковник Алексеев не ответил на вопрос о цели столь необычной стрельбы. Наверное, будут наступать? Мы знали, как действуют наши сегментные беспарашютные снаряды, рассыпающие при разрыве множество горящих звездочек. Чем ниже разрыв, тем больше света и страха для противника. Не успев сгореть в воздухе, звездочки выжигают все на земле. Осенью, еще до снега, мы пристреливали эти снаряды над своим побережьем. Звездочки, не успев сгореть, упали на боевые порядки стрелковой роты и зажгли торф. Командир роты, едва справившись с пожаром, позвонил мне:

— Красиво стреляешь, Поночевный, только прошу больше меня не поджигать. Как-нибудь обойдусь без этого зрелища!

Теперь, когда по приказу Алексеева мы открыли огонь сегментными снарядами, звездочки рассыпались на высоте 200 метров над «Яйцом». В окопах противника началась паника. По освещенной местности в атаку пошла морская пехота. И конечно, разведчики впереди. В том бою был ранен их командир Юневич. Весь передний край знал, что его отправили в Полярный, в госпиталь.

Но вот в конце марта сорок третьего года я услышал, что Юневич снова в строю. Мне приказали срочно явиться на передовой наблюдательный пункт полковника Алексея Максимовича Крылова, командира 63-й бригады морской пехоты, которому мы оперативно подчинены. Мрак, пурга, штормовой ветер с моря, но я хорошо помнил путь и к штабу и к НП Крылова, помнил по весьма неприятному, горькому случаю.

Тогда шел дождь и тоже был штормовой ветер. В ту ночь у нас находился комендант сектора береговой обороны подполковник Долбунов. Именно в тот момент, когда он грубо разносил меня за беспорядок на позиции разбитого второго орудия, где еще не просохла кровь погибших, мы ждали приезда командующего флотом адмирала Головки. Из штаба Сергея Ивановича Кабанова сообщили, будто адмирал выехал к нам. Я обрадовался предлогу поскорее убраться с батареи. Нацепив брезентовый дождевик, вскочил на коня и погнал его галопом. Конь был чужой. Проскакав несколько минут, конь споткнулся и выкинул меня из седла в грязь. А кругом — тьма, льет дождь. Никаких ориентиров. Не поймешь, где север, где юг. В ближайшем озерке я смыл грязь с одежды и отправился дальше. Конь завез меня в бригаду полковника Крылова. Меня там обогрели, чаркой угостили, но начальник политотдела подполковник Михалевич запретил выезжать из бригады ночью. Я уже знал, что командующий флотом не прибудет. Но на батарее моего возвращения ожидают строгий командир дивизиона и подполковник Долбунов. Здесь гостеприимный, но не менее строгий начальник политотдела. Ему я подчинен оперативно, а те — прямые начальники, с ними жить и служить. Подумал-подумал и отправился домой. Вместо Маттивоно попал в Пуманки, где дислоцировался банно-прачечный отряд. Немедленно позвонил начальнику штаба дивизиона своему однокашнику Уварову.

— Знаем, как заблудился, — рассмеялся он. — Не в пропасть попал и не к фрицам в гости, а к девушкам в «мыльный пузырь»...

Уваров-то шутил, а Космачев всерьез заподозрил меня. Только этого не хватало при сложившихся у нас отношениях! Пришлось снова отправляться в дорогу. К утру добрался до «старушки» и, на свою беду, застал там того же подполковника Долбунова. Для Бориса Соболевского я сыграл тогда роль громоотвода...

С тех пор навсегда запомнил мельчайшие ориентиры на дорогах, связывавших нашу батарею с бригадой морской пехоты. Поэтому я вовремя прискакал по вызову Крылова на его НП, несмотря на мглу и буран.

— Знакомьтесь, это командир стосороковой батареи, он вам понадобится, — сказал полковник, подведя меня к высокому стройному капитану, одетому по-солдатски в фуфайку и ватные брюки. — Договоритесь между собой о вызове огня и порядке прикрытия.

Капитан сказал: «Есть», — быстро посмотрел на меня пронзительным взглядом, взял за руку и отвел в дальний угол землянки к столу из снарядного ящика. Все остальные на командном пункте деликатно держались в стороне.

Чувствовалось, что этот капитан не только всеми уважаем и ценим.

Чувствовалось, что сегодня он в центре внимания, что собраны все ради него.

Это был Александр Яковлевич Юневич, командир разведывательной роты бригады морской пехоты. С ним я уже не раз взаимодействовал в бою, пользовался его данными. Батарейцы прожужжали мне уши рассказами о подвигах Юневича, но до сих пор мы не были знакомы. Дерзкими рейдами по вражеским тылам он менее чем за год заслужил помимо орденов повышение в воинском звании от младшего лейтенанта до капитана.

Юневич расстелил на ящике карту, расчерченную и расписанную цветными карандашами:

— Сегодня в ночь с группой разведчиков пойдем на катере к берегу противника в расчете высадиться вот тут, — он показал пункт на карте. — Прошу быть готовым к подавлению его батарей, если они обнаружат катер. Вот эти батареи. Это моя первая просьба. Вторая: подавить огонь батарей, стреляющих по группе на берегу. Наш маршрут проходит здесь. Но волей противника он может быть изменен. О сигналах в случае изменения маршрута договоримся позже. Вот эти батареи по маршруту. Третья просьба: прикрыть нашу группу от преследования при отходе к берегу и обеспечить переход катера через залив. Вот и все. Ну и последняя: если потребуется, дать огонь на меня. По моему вызову!

Последняя просьба была для меня совершенно неожиданной. Не обратив внимания на подчеркнутое Юневичем «по моему вызову», я, словно пытаюсь утешить, произнес:

— Думаю, до этого не дойдет, товарищ капитан...

— На войне бывает всякое, — сухо ответил Юневич.

— Ваши просьбы считаю боевой задачей, — продолжал я в том же духе. — Выполним их с радостью. За исключением последней.

— Это не шутка, товарищ Поночевный!

— Добро! — До меня дошло наконец, что все это серьезно, и стало неловко. Вроде бы я, легкомысленно играя словами, невольно заподозрил в кокетничании человека, который отлично, без дураков, знает, на что идет и что такое безвыходное положение.

Мы вышли из землянки и, разглядывая в сумерках противоположный берег, стали договариваться о сигналах вызова огня. За три года службы в этих краях я изучил тот берег до мельчайших деталей, часами разглядывая его в оптические приборы. Юневич за год узнал берег противника не хуже, а лучше моего. Он не пользовался стереотрубой, а сам исходил и облазил каждый метр, может быть, даже полил землю своей кровью. Я понял это сразу, когда начали кодировать названия бухточек, ложинок, высоток и скал на маршруте разведчиков.

Мне надо вернуться на батарею, рассчитать с помощником все данные для стрельбы и быть снова на НП бригады к 17.00 — полковник Крылов приказал управлять огнем батареи с его НП. До этого часа следовало успеть не только подготовить расчеты, но и протянуть прямую линию связи к морским пехотинцам. Мы попрощались с Юневичем, потом вдруг обнялись, и он произнес грубым, немного охрипшим басом:

— Откажет рация или еще что, знай: три красные. Помнишь, я давал одну красную, немцы дублировали, а ты бил в меня, принимая это за вызов огня? То-то... Так что сигнал нечетный. Три — значит, бей не раздумывая. И еще помни: заодно со мной угробятся не меньше сотни их сволочей...

В назначенный час, оставив за себя Володю Игнатенко, я вернулся на НП Крылова. Там уже собралась вся оперативная группа, руководившая с этой стороны вылазкой разведчиков. Прибыл и полковник Крылов,

Я слышал, как он шепнул стоящему рядом со мной начальнику разведки бригады:

— Лях сейчас выходит. Погрузились.

Борис Лях, катерник, всегда высаживает разведчиков. Я ни о чем не спрашиваю, не принято у нас спрашивать о том, чего тебе не говорят, но понимаю — дело очень серьезное. Разведчиков — 48. Высаживать будет Лях. Идут не семечки щелкать на той стороне.

Буран за эти часы стих. Над заливом темная спокойная ночь. Мороз. Волнами поднялся туман над водой. Восток едва освещен восходящей луной. На переднем крае, почти рядом, прогремела короткая пулеметная очередь. Прогремела, прокатилась эхом в гранитных скалах и затихла.

Ждать трудно и тревожно. Ждем молча. Начальник разведки посмотрел на часы и сказал, что катер уже должен подойти к цели.

— Рано, — возразил Крылов. — В такую тишь он идет на самых малых оборотах.

Мы вышли из НП и стали вслушиваться в звуки, долетающие с моря.

У радиостанции дежурил радист, ожидая сигнала о высадке: только одного короткого, едва уловимого сигнала. Когда он наконец поймал этот сигнал, все заговорили наперебой. Как будто полегчало, хотя именно сейчас начиналось самое трудное, самое опасное.

Небо чуть посветлело. Недолго теперь рассвет, но все же он есть. Мы спрятались в окопы, из которых пристально следим за районом высадки. Казалось, видишь там уже и камешки, и ложбинки. Возможно, это и не было обманом зрения для нас, привыкших наблюдать за чужим берегом и вооруженных сильными оптическими приборами. Но людей мы там не видели: они должны быть уже за хребтом, в ближнем тылу врага.

Мы долго сидели молча, скрывая друг от друга тревогу. Только когда с той стороны докатился стук автоматов, наших автоматов, как пояснил обладающий удивительным слухом начальник разведки, полковник Крылов произнес встревоженно:

— Обнаружены?..

Короткий сигнал, принятый радистом, расшифровывался так: «Задание выполнил, обнаружен, имею одиннадцать убитых, двух раненых, противник окружает».

Затем последовали лаконичные сообщения по заранее разработанной таблице условной связи: «Нахожусь в квадрате...», «Отбиваю атаки», «Прошу огонь», «Прошу плавсредства», «Так держать огонь», «Верно бьют», «Прекратить огонь», «Противник выставил минометы», «Больше огня...»

Сколько за этим таилось трагических подробностей! Там шел жестокий бой, наши пробивались к берегу... Мне некогда думать об этом. Я должен управлять огнем по вызову Юневича. Одну за другой передавал по телефону команды Володе Игнатенко. Громыхали залпы наших орудий. Снаряды со свистом пролетали над нами, над наблюдательным пунктом морской пехоты, и рвались на том берегу. В оптические приборы мы увидели наконец фигуры людей на побережье. Бой подошел к морю.

Фашисты, окружив разведчиков, залегли. Юневич сообщил: их больше роты, кроме того, противник выдвинул минометы и бьет из дзотов, расположенных на ближнем мысу. Разведчики тоже залегли в обороне, чтобы продержаться до полной тьмы, — катера не смогут их снять в светлое время.

Юневич попросил прикрыть его со всех сторон, окружить, отсечь от врага стеной разрывов.

К нам присоединились батареи артиллерийского полка. Распределив между собой цели и все рассчитав, мы открыли огонь. Он равно опасен и для врагов, и для своих. Мы поставили вокруг разведчиков огненную стену, создали кольцо, зная, что малейший просчет может быть роковым. Радист принял радиограмму: «Точно бьете!» Я тут же передал об этом по телефону на все орудия.

А к концу дня новый сигнал: «Огонь на меня». Еще не вышло время подоспеть катерам. Неужели там уже все?

Опустились руки. Язык не поворачивается произнести команду.

— Выполнять просьбу, — говорит начальник разведки. — Они сошлись с противником вплотную. Надо прижать фашистов к земле. Иначе наши не вырвутся!

— Как быть? — снова спрашиваю я полковника Крылова, игнорируя указание начальника разведки.

— Выполнять просьбу Юневича, — сердито отозвался полковник и бросил на меня такой взгляд, которого нельзя забыть. Зачем действительно я вынудил и его произнести этот приказ?..

— Три снаряда, батареей, беглым, огонь!

12 снарядов просвистели над нашей головой и загрохотали на том берегу. Они осветили вспышками квадрат, где находятся и наши, и враги. 12 тяжелых фугасов, способных угробить не один корабль с войсками и техникой противника! Они сметут с лица земли и минометы фашистов, и роту егерей, окружившую наших героев. Но эти снаряды поражают сейчас и своих...



Только через полтора часа счастливый радист закричал:

— Живы! Передают спасибо за огонь.

Уже стемнело. Уже подошли к тому берегу катера и высадили в помощь Юневичу группу новых разведчиков. Уже несколько раз он снова вызывал огонь на свой квадрат, пропадал в эфире, появлялся и снова исчезал. Немцы не выпускали наших к побережью.

Я уже не спрашивал полковника Крылова, выполнять ли просьбы Юневича. Юневич вызывал огонь на себя, и мы вели по нему огонь...

Вторые сутки длился бой. Мы не стали расходиться с НП даже тогда, когда все затихло и связь с Юневичем оборвалась: ждали хоть какого-нибудь сигнала... Я умышленно оттягивал час возвращения на батарею. Что скажу матросам? Как все объясню?.. Герои погибли. Мы выполнили свой долг... Но как трудно это пережить и осознать: мы били по своим...

На третий день один из разведчиков переплыл через залив. Один из сорока восьми! Он оседлал бревно и добрался до берега Маттивоуно окоченевший, едва живой. Мало что мог рассказать он об этом трагическом бое и мужестве своих товарищей. Под огнем наших орудий погибли не только герои-разведчики, но и все окружавшие их подразделения противника. Над выжженным полем долго стояла тишина и держался пороховой дым. Потом откуда-то появились немцы, они добивали раненых — и наших и своих...

Так завершился последний поход Александра Юневича.

## **МИЛЫЕ МОИ ДРУЗЬЯ**

Опять весна. Вторая весна суровой войны. Дни становятся длиннее, ночи тают, как тает снег под майским солнцем. В этом году мы особенно жадно ловим каждый признак возрождения истерзанной бомбами и снарядами земли. Снова раскрываются почки северной вербы. Вытянулись из-под снега березки, посветлели их израненные, обожженные ветви, засочились светло-зеленой прозрачной слезой. Даже утренние заморозки не могут сковать этот бурный процесс. Немного березок осталось на нашем полуострове, да и те обезглавлены, изуродованы осколками. Оседает снег, и черной сыпью выступают на нем куски металла. Много металла! Каждые полметра земли поражены осколками. Немало обнажилось и неразорвавшихся снарядов. Дальномерщики собирают их в одну кучу. Чтобы нас внезапно не рвануло на воздух, пришлось перенести эти снаряды подальше от батареи. Геннадий Хмелев надумал поднять всех комсомольцев на воскресник: собирать лом для будущего.

Металл для будущего! Все чаще заговаривали матросы о послевоенной жизни, и никто не добавлял при этом: «Если доживем»,—хотя потерь у нас немало, они ждут нас в каждом бою.

По-прежнему в чести у матросов письма незнакомых или теперь уже заочно знакомых москвичек, свердловчанок, сибирячек. Писем от родных почти никто не получает. А если и случалось такое письмо — оно становилось событием для всех, радостным ли, печальным, но общим. У большинства батарейцев родные, как и у меня, в оккупированных районах или где-то на фронте. Хотя в Полярном и жил брат, но все равно очень тоскливо без близких друзей. Нет рядом ни Виленкина, ни Зямы Роднянского, ни Гоши Годиева — он ушел служить в танковую часть.

Трудно складывались наши отношения с Борисом Соболевским. И воевали рядом, и «наркомовские сто грамм» нередко распивали из общей чарки, а близкой дружбы все не было. Уважал я его прямооту, ум. Иногда даже завидовал острому языку, самостоятельности в суждениях и поведении. А все чудился холодок между нами. Борис казался мне слишком уж интеллигентным. А может, это была непреодоленная настороженность, сельского парня к горожанину, которую я давно, еще в училищные годы, замечал за собой?..

Коля Курочкин часто ругал Алешу Алексеева: тот писал нежнейшие письма всем девушкам кряду. Курочин романтик, лирик. Алексеев любил его поддразнивать, уверяя, будто ему нравятся все девушки на свете, тем более, если они патриотки и присылают бойцам свои фотографии. А Николай не признавал шуток на такие темы. Он сердито называл Алексеева турком, поклонником гаремов.

— Какой же это гарем, — посмеивался Алексей, — я только четверем пишу. А на орудие наклеил всего две фотокарточки...

Геннадий Хмелев время от времени разнимал спорщиков, как петухов. Но и сам был не прочь подковырнуть своего дружка Субботина, особенно после так называемых «встреч знатного замкового с молодежью», Субботина задевало, когда Хмелев, уже в который раз, называл его «неполноценным замковым».

— Ну какой ты герой, ты же недомерок, — заводил Хмелев, подмигивая товарищам.

Субботин сердился, начинал доказывать, что с помощью ящика он вполне справляется со своими обязанностями. Но тут-то один вставит, бывало, словечко, то другой комично изобразит, как носится Субботин со своим ящиком по орудийному дворику, — и пошла потеха!

А потом переключались на моего вестового Степушонка. В ту весну его донимали Русланом и Людмилой. Вестовой недосмотрел что на КП оказались две кошки.

— Придумал ли Руслану женское имя? — издевались матросы. — Где раздобудешь для этой парочки настоящего кота?

Степушонок парень стеснительный, в общении с людьми робкий, не умел отбиваться от подобных шуток и только краснел или мычал что-то невразумительное. А потом, выбрав минуту, когда рядом с телефоном никого нет, с отчаянием начинал обзванивать соседние части, умоляя знакомых вестовых поменять одну кошку на кота и суля в придачу всякие блага...

Коля Субботин однажды сказал, что до войны он жалел каждую букашку. Друзья посмеивались над его мягкостью. Сейчас Субботин узнал, что такое ненависть, злость, и плачет от досады, от сознания, что не может одним снарядом покончить с проклятыми фашистами. Он кое-что прослышал о тепlopеленгаторах и радиолокаторах, которые появились на кораблях в Полярном, нагляделся на маневры прожекторов и мечтает вслух о машине, которая вырабатывала бы огненные лучи. Такие лучи, по мысли замкового, должны уничтожать все на пути, а главное, начисто разрезать корабли врага в любой туман, среди любых дымзавес...

Все они, мои милые друзья, шутники и трудяги, очень спаяны между собой. Они не мыслят воевать врозь, в госпиталь уходят по принуждению, а при первой угрозе откомандировать после излечения в другую часть бегут с госпитальной койки на батарею. И успехи батареи, и неприятности были достоянием всей нашей дружной семьи. Такой солидарности, привязанности к своей части, возникшей в долгой совместной жизни под огнем, я не видывал ни до войны, ни после. Все очень сочувствовали Саше Покатаеву, хотя иногда мне казалось, что матросы смотрят с укором: не отстоял, мол, командира орудия!

Случилось это после празднования Дня Красной Армии. Я разрешил устроить для старшин и сержантов праздничный ужин в землянке хозяйственного взвода. Ужин обошелся без шума и происшествий, очевидно, не шибко превысили положенную по закону норму. Фельдшер Иванов, участвовавший в ужине, оставил на койке Володи Игнатенко свой пистолет. Вспомнил о нем, уже вернувшись к себе в санчасть. Позвонив в землянку, Иванов попросил Покатаева по пути занести оружие в санчасть.

Покатаева встретил по дороге сержант Крутиков, человек, в котором было что-то от Ишина. Раз Покатаев младший сержант, а он, Крутиков, ступенью выше, значит, и вправе отобрать пистолет! Покатаев объяснил, в чем дело, но пистолета не отдал. «Ты пьян», — крикнул Крутиков и схватил Покатаева за грудки. Пошумели, поругались. Командир орудия сгоряча пригрозил Крутикову пистолетом...

Все обошлось было благополучно. Вручив пистолет владельцу, Покатаев рассказал о встрече с Крутиковым. Но в дивизионе в канун его награждения орденом работала комиссия политотдела. Случай этот, взятый на карандаш, превратился в ЧП; «Младший сержант грозил расправой сержанту при исполнении последним служебных обязанностей». Как назло, все шло одно к одному и складывалось неблагоприятно для этого дела. Генерал собрал на нашем КП офицеров дивизиона для разговора об укреплении дисциплины. Председатель комиссии бегло упомянул про ЧП на 140-й и назвал фамилию Покатаева. Прервав председателя, генерал спросил меня, наказан ли младший сержант. Пытаясь все объяснить, я сказал, что это лучший командир орудия и его не следует наказывать. «Эдак они вам на голову полезут», — сердито сказал генерал и приказал разжаловать Покатаева, а мне за попустительство объявить выговор. В довершение ко всему генерал и командир дивизиона отказались после совещания от традиционного хлеба-соли батарейцев, выразив тем самым свое недовольство.

Комиссия уехала. На КП пришли Соболевский, Захаров и А г а п Лопухов. Утешали меня, как принято между мужчинами: подкалыванием, шуточкой и чарочкой. Упрекали, что своевременно не наказал всех — и сержанта, и младшего сержанта, и фельдшера в придачу, чтобы не бросал, где не надо, пистолета. Может быть, не пришлось бы тогда разжаловать Покатаева, а мне не повесили бы выговора.

Очень переживал эту историю Саша Покатаев. Он чувствовал себя не столько пострадавшим, сколько виновным за ущерб, нанесенный командиру, а значит, и престижу батареи. А мне было тошно: лишились прекрасного командира орудия. Правда, капитан 1 ранга Туз утешил, сказав, что при первом удачном для Покатаева случае наказание с него снимут. Матросы мне явно сочувствовали. И все же было стыдно: не смог объяснить начальству всех обстоятельств происшествия.

Удивительное чувство не только товарищества в бою и солидарности в быту, но и взаимной поддержки в труде выработалось за это время у наших матросов. Я уже говорил, на батарее подобрались шутники и трудяги. Конца войны еще не видно, но, рассуждая о победе, никто не упоминал об отдыхе после войны, хотя уже два года матросы спали не раздеваясь. Каждый мечтал вернуться к любимому делу. Не мог матрос сидеть в стороне, если видел, что другой боец, пусть даже незнакомый, занят тяжелой работой.

Надумали мы спустить озеро, возле которого стояло четвертое орудие. Озеро — отличный ориентир для авиации противника, а поставить орудие в другом месте нельзя. С началом весны возросла угроза нападения с воздуха. Тогда и приняли решение прорыть стометровую траншею глубиной около пяти метров. Генерал поручил работы взводу саперов. Но наши матросы не могли поглядывать на саперов со стороны. Чуть выкроится свободное время — берут кирки, лопаты, идут помогать. Вениамин Кошелев считал, что спуск озера вообще наше

кровное дело. И потому мы сами должны разобрать перемычку, закрепить за собой «торжественный момент». Саперы, благодарные матросам за помощь, не возражали. Самые сильные из артиллеристов остались в траншее перед разрушением перемычки. Ударами кирки открыли путь воде. Ко всеобщему удовольствию собравшихся ради такого зрелища, вода пошла, а озеро не убывало. Траншею пришлось углубить. Только на вторые сутки вода в озере заметно убывла, а через пять дней ее не стало. На месте озера оказался кустарник и зеленый ковер дерна. Это было не чудо. Наши батарейцы, не жалея сил, шли вслед за убывающей водой. Освобождающийся берег засаживали кустарником. Черное дно озера застилало дерном. Больше всех радовался командир четвертого орудия Игумнов: и маскировка хорошая и не надо колесить вокруг озера к позиции. Был рад и командир отделения подачи Ваня Морозов — снаряды можно теперь носить напрямик!

Морозов таскал снаряды целыми ящиками. Низенький, щуплый Игумнов не мог надивиться его силе.

— Вас с Ожигиным на пару в плуг запрягать, лучше трактора потянете! — с удивлением и восторгом говорил Игумнов.

Ожигин — снарядный на четвертом орудии, высокий и очень сильный парень, только что призванный на службу.

Был у нас матрос Кучменко. В последнее время он часто жаловался на непонятную боль в животе. Я спросил как-то фельдшера Иванова, что с парнем, почему страдает?

— Сказано ему не таскать снаряды, не его это боевая специальность, — раздраженно отозвался фельдшер. — Так нет! В каждом бою, чуть выпадет минута, хватается за тяжелые ящики. Не могу, говорит, стерпеть, помогать надо...

Это нежелание быть в стороне, когда товарищи работают или воюют, толкнуло командира отделения подачи снарядов Тюлюбаева на подвиг в бою 20 мая 1943 года.

Мы отвыкли за зиму от вражеской авиации. В темноте нас бомбили не часто: снег и ночь помогали хорошо замаскироваться. Зато с весны и авиация и артиллерия противника с новой силой набросились на батарею. В полярную ночь фашисты терпели неудачу за неудачей. Теперь, в первые светлые дни, они торопились пополнить свои запасы: появилась возможность подавлять нас во время проводки конвоев, бомбить и обстреливать не вслепую, не наугад, а прицельно.

В тот день солнце, склоняясь к морю, сильно слепило наших наблюдателей. И все же сигнальщик Дюков заметил слабые дымки на горизонте. Батарея была приведена в боевую готовность № 1.

Действия противника сразу же подтвердили правоту сигнальщика. С материка на море поползли кудрявые облака дымзавесы. Гитлеровцы явно ждали следующий в Петсамо конвой.

Ветерок гнал «облака» в нашу сторону, и на море появилась плотная белая пелена.

На этот раз противник изменил тактику. Не ожидая, когда мы откроем огонь по конвою, он заранее атаковал нас — с материка и с воздуха. Корабли находились еще вне зоны действия береговой артиллерии, а бой уже развернулся. Матросы застыли у орудий, стараясь не обращать внимания на разрывы вражеских снарядов. Ни один человек из орудийной прислуги или взвода управления не мог уйти в укрытие: с минуты на минуту последует команда открыть огонь по морскому противнику. Только подносчики снарядов скрывались пока в траншее.

Шум авиационных моторов услышали одновременно на всех боевых постах. На нас с разных направлений шли бомбардировщики — звездный налет!

Расположенные на флангах зенитные батареи Крячко и Лопухова уже начали бой. До нас доносился глухой грохот бомб. Очевидно, зенитчиков бомбили специально выделенные самолеты, расчищавшие путь основным силам.

— Товарищ командир, с моря на батарею — шесть бомбардировщиков! — услышал я по телефону голос Вениамина Кошелева, заменившего на втором орудии Покатаева. — Хорошо бы рвануть по ним гранатой.

— Вижу, вижу, товарищ Кошелев, — спокойно ответил я, а самого тоже подмывало поддаться соблазну.

Уж больно заманчива цель для дистанционных гранат! До конвоя далеко, а тут с моря прямо на нас режут шесть машин. И летят невысоко — до них нет и тысячи метров.

— Эти к нам, — словно угадав мои мысли, тихо сказал Игнатенко. — Лопухов и Крячко вынуждены вести огонь на самооборону, а эти вмажут нам.

— Знаю, — сердито оборвал я помощника и сразу приказал открыть огонь.

Дальномерщики, наверное, слышали мои переговоры с Кошелевым. Они уже приготовили данные о дальности и высоте полета бомбардировщиков. Батарея дала три залпа. Дистанционные гранаты рвались в строю самолетов.



Гитлеровцы в замешательстве ринулись в стороны. Строй рассыпался. Две машины задымили, развернулись на 180 градусов и потянули домой, оставляя за со бой черный след.

Но над нами уже висела другая группа самолетов. Увидев вспышки залпов, они ринулись на батарею. Завыли моторы пикировщиков, нудно загудели сирены падающих бомб, вздрогнула и застонала земля, распахиваемая снарядами и бомбами противника.

А на море, оттуда, где шли корабли конвоя, будто из самой его утробы, вынырнули три гидросамолета, оставляя позади шлейф дыма. На разных высотах, ступенями — от воды к небу, тянули они три новые дымовые завесы.

По гидросамолетам ударили орудия Захарова, они находились ближе всего к цели.

Я услышал голос Кошелева, подбадривающего своих матросов:

— Молодцы! Двух бомберов не досчитаются фашисты!

— Отбиваем хлеб у зенитчиков! — откликнулся кто-то.

Тяжело ребятам, жутко. Рвутся и бомбы и снаряды, а надо держаться на посту, ждать.

Командир отделения подачи на втором орудии Тюлюбаев приказал добавить снарядов и первый выскочил из укрытия. Он успел сделать всего несколько шагов — небольшой осколок пробил щеку, выбил верхние зубы и ранил язык.

Щавлев подхватил командира отделения, отнес в землянку второго орудия, перевязал и наказал лежать, а сам бросился носить снаряды.

Тюлюбаев слышал орудийные залпы. Наша батарея открыла огонь, ставя заградительную завесу на вероятных курсах движения транспорта. На море сплошная белая стена. Цели не видно. Но теплопеленгаторная станция через каждые 20 секунд выдавала пеленг. Других целей она не ощущала. Мы били по упреждающей точке, по движению судна. Эти залпы и слышал раненый Тюлюбаев. По интенсивности огня он понял: снарядов потребуется много, и, преодолевая боль, выбежал из землянки. Вскочил в траншею, взял снаряд.

Сильная взрывная волна и пламя встретили сержанта у входа в орудийный дворик. Его отбросило обратно и повалило вместе со снарядом. В зарядную нишу второго орудия попала бомба. Взорвались заряды, вспыхнула краска на орудии, загорелись стенки орудийного дворика. Над вторым орудием взметнулся столб огня.

Я приказал командирам первого и третьего орудий оказать помощь второму. Часть матросов из расчетов этих орудий бросилась к соседям. Прибежавшие туда бойцы прежде всего натолкнулись на Тюлюбаева. Он оказался не в траншее, куда его швырнуло волной, а в пылающем двореке. Тюлюбаев горел, он был без сознания.

Позже, в госпитале, Ковальковский узнал подробности происшедшего.

Очнувшись после удара взрывной волны, сержант попытался встать, но не смог. Пятку правой ноги ему оторвало вместе с частью ботинка. Вполз во дворик. Все в огне. Пламя подошло к снарядной нише и лижет снаряды. Тушить, тушить! Иначе орудие взлетит на воздух. Он полз, натываясь на обгорелые трупы товарищей. Ладони рук покрылись пузырями, горела одежда. Добрался до снарядной ниши, начал кататься по двореку, пытаясь сбить с себя огонь. Снова потерял сознание.

В пекле возле готовых взорваться в любой миг снарядов его и нашли товарищи...

Теплопеленгаторная станция потеряла цель. Мы ставили теперь огневую завесу у входа в порт. Бой стихал. Ушли самолеты, смолкли вражеские батареи. Только клубы дыма долго держались над морем. Что за ними, где суда, прошли они или нет?

В этом бою мы потеряли Вениамина Михайловича Кошелева, Владимира Петровича Зацепилина, Афанасия Семеновича Стульбу и Колю Курочкина, славного нашего романтика. В тяжелейшем состоянии находится Тюлюбаев, не пожалевший себя ради спасения орудия.

Бой показал, что противник ищет новые способы подавить нас. Постановка дымовых завес гидросамолетами— новое в его тактике. Уплотнился и артиллерийский огонь, сочетаемый с одновременными ударами с воздуха. Мы уже знали, что на мысах Крестовом, Нуураниеми и Ристаниеми стоят четырехорудийные 150-миллиметровые батареи, а с мыса Девкин против нас действует 210-миллиметровая батарея. Из боевых порядков артиллерийских частей, стоявших в районе хребта Муста-Тунтури, нас обстреливали 280-миллиметровые орудия. Иногда в борьбу вступали и полевые орудия противника.

Зенитные батареи Лопоухова и Крячко успевали вести огонь лишь для самозащиты от специально выделяемых против них групп самолетов. Другие самолеты, недосягаемые для наших пулеметчиков на высоте двух тысяч метров, могли в это время безнаказанно бомбить нас.

Командующий Северным оборонительным районом, обеспокоенный потерями, выделил нам в помощь еще две зенитные батареи — 76-миллиметровую Яковлева и 37-миллиметровую Павлова.

Уже после войны я узнал, что командование военно-морских сил фашистской Германии неоднократно и настойчиво требовало уничтожить русские батареи на полуострове Среднем. Вначале был разработан план десантной операции «Визегрунд». Но он провалился в результате активных действий советской пехоты и флота на этом театре войны. Потом ту же задачу поставили перед артиллерией и авиацией. Нам все труднее было выстоять. Мы теряли лучших своих товарищей, но выдерживали все и сохраняли боеспособность.

Так складывались события в начальный период войны. 1943 год резко отличался от предыдущих. Позади — разгром фашистов у стен волжской твердыни. Наши силы окрепли, и противник уже вынужден вести счет ресурсам. На этом этапе войны было дороговато устраивать ежедневно комбинированные налеты из-за проводки одного-двух судов, да еще с сомнительным итогом боя. Немцы снова вернулись к идее перевозки грузов в Петсамо на малых судах, способных пробираться вдоль противоположного берега. Снова появились самоходные баржи, хорошо маскирующиеся на фоне черной береговой полосы, обнаженной отливом.

Мористее нас, на высоте 200, находился пост службы наблюдения и связи (СНИС), просматривавший некоторую часть залива, недоступную для наших сигнальщиков.

Снисовцы раньше нас обнаружили проецирующуюся на воде самоходную баржу. Мы увидели ее только на подходах к Ристаниеми, когда баржа на время отделилась от берега. Дали залп. Баржа тотчас скрылась за мысом.

— Видел баржу? — спросил я, позвонив Соболевскому.

— Ничего не было!

— Баржа показывалась. Но ты сидишь ниже меня...

Так случалось не раз.

Однажды из залива Пеуравуоно вышел сторожевой катер и направился к Петсамо. Солнце склонилось к горизонту и снова стало подниматься. У батарейцев часы отдыха; спали, как всегда, не раздеваясь.

Подойдя к нам на 120 кабельтовых, катер повернул на 90 градусов и пошел в море. Через несколько кабельтовых он лег на обратный курс. Дежурный разбудил меня и доложил об эволюциях катера. Я приказал продолжать наблюдение и, если катер пойдет на сближение, объявить боевую тревогу.

Но катер продолжал с непонятной целью крутиться на море, не приближаясь к нам. Создавалось впечатление, что он дразнит нас или провоцирует открытие огня.

Позвонил командир дивизиона, спросил, почему не стреляем.

— Зачем? — удивился я.

— Немедленно открыть огонь!

Прогремел залп. Увидев вспышки, катер сразу лег на обратный курс. Расстояние большое, снаряд до этой маленькой цели летел больше минуты, катер успевал уйти вправо. Мы схитрили и следующий залп дали с учетом повторения маневра. Снаряды упали возле катера. Он быстро ушел. Командир дивизиона рассердился: не потопили!

А мы уже определенно решили: катер нарочно вызывал на себя огонь с предельной дальности, чтобы точнее засечь батареи и определить их возможности. Соболевский, которому тоже приказано было открыть огонь, катера вообще не видел и не мог видеть. Я уже говорил, что 221-я находилась значительно ниже нас над уровнем моря. При наблюдении такой небольшой цели, как катер, эта разница давала себя знать.

Командир дивизиона доложил генералу о плохой стрельбе, и нас с Соболевским вызвали на разбор в штаб бригады морской пехоты.

На батарее вместо меня оставался новый помощник лейтенант Вячеслав Зайцев, — Володя Игнатенко ушел командовать другой батареей. Неуклюжими шутками я старался скрыть тревогу. Просил в случае чего прислать на гауптвахту сухарей.

Вихрастый рыжеватый Зайцев утешал, как мог.

— Вернетесь, — уверял он. — Командира в такое время на губу не отправят. Накажут как-нибудь иначе, без отрыва от батареи...

Оседлав лошадок, мы тронулись в путь. Я откровенно трусил. Борис казался спокойным. Он считал, что в худшем случае нас пошлют на один из южных фронтов. Я кипятился, досадуя, что многие не поймут, каково бить по вертлявой подвижной цели на расстоянии более 20 километров! Не поймут и наших неудач с самоходными баржами, идущими у самого берега!

— Главное не в том, поймут ли нас, — резонно заметил Соболевский. — Обидно, что показали себя дураками перед врагом! Ключнули на его удочку и открыли огонь по катерку. Теперь за это и всыпят!

Мы оба понимали, что больше всего достанется Борису, который на ножах с Космачевым. Генералу сейчас не до этих тонкостей, ему надо подстегнуть нас и потребовать большей точности огня. А командир дивизиона, конечно, не будет выгораживать Соболевского. Не открыл огня — и все, а видел или не видел цель — дело десятое.

Возле КП бригады в группе офицеров штаба был уже и Захаров. Он шепнул мне, что, как назло, тут находится корреспондент «Красного флота» из Москвы, и показал на стоявшего поблизости худощавого капитана в очках.

— Ну и пусть, — махнул я безразлично рукой. Однако тут же вспомнил, что фамилия корреспондента нередко красовалась и под критическими материалами. Ославит теперь на все флоты, черт бы его побрал!

Показался «виллис» генерала, нас пригласили на разбор. Не буду подробно рассказывать, как все происходило. Докладывал командир дивизиона. Все шишки, конечно, сыпались на наши головы, и особенно на голову Соболевского (так когда-то бывало со мной, когда командовал маломощной «старушкой»). Легче всего отделался Захаров — его батарея далеко от залива Петсамо. Генерал, не щадя нас, упрекал за большой расход снарядов, дорого стоящих стране и флоту. Наверное, и ему не сладко приходилось, когда погибали в Мотовском заливе баржи, доставляющие эти снаряды на полуострова.

Мы и не пытались оправдываться. Сами понимали, врага надо топить, а не подбивать. Но что делать? Конкретного совета не дали даже на разборе.

Позже мне рассказали, что в эти дни на сборах артиллеристов в Полярном знаменитого ученого артиллериста Унковского спросили: «Как вести огонь в условиях, создавшихся для батарей Среднего, при плотных и сплошных дымзавесах?» — «Выход один, — ответил этот ученый, — радиолокация». А ее у нас не было в те времена.

Кончился разбор печально. Генерал Кабанов отстранил Бориса Соболевского от командования. Меня и Захарова предупредил, что при следующем промахе нас постигнет та же участь, пошлют воевать в пехоту на Муста-Тунтури или куда-нибудь на юг.

Ох, не хотелось нам в ту пору покидать измучившие нас, неудобные полуострова. Не хотели мы таким постыдным образом попасть даже на теплый Юг. Лучше здесь же, в штрафную на Муста-Тунтури...

На командном пункте батареи я застал все того же корреспондента «Красного флота». Вот уж не ожидал! Встреча в моем положении не из приятных. Да что поделаешь! Пусть поживет с нами. Посмотрит, как воюем, как топим и подбиваем транспорты. А пока пусть рассказывает бойцам, что хорошего видел на других батареях, на других флотах и фронтах. Пусть расскажет про

артиллеристов гангутца Бориса Гранина на Балтике, защищающих блокированный Ленинград. И про моего однокашника Андрея Зубкова — командира самой левофланговой батареи советско-германского фронта; он тоже уничтожает морские цели, блокируя захваченную фашистами Цемесскую бухту... А пошлют ли меня на юг или на Муста-Тунтури или оставят воевать на батарее — это решать не корреспонденту. Все зависит от нас самих, как утверждает «наш аббат» Ковальковский.

## **ПРОЩАЙ, КОВАЛЬКОВСКИЙ!**

И вот мы учимся, учимся, учимся, используя каждый просвет между боями. Учатся все: командиры на командных пунктах, матросы в оружейных расчетах — каждый на своем боевом посту. После устроенного генералом разбора стрельб занятия и тренировки начались на всех батареях и проходили даже совместно в масштабе дивизиона. Недавно введены в действие новые «Правила артиллерийской стрельбы». Они стали основой командирской учебы. Этими тренировками по ПАСу начиналось каждое наше условное утро.

Погода благоприятствовала учебе. Зимой все свободное время уходило на борьбу со снегом. Сейчас каждому приятно вылезти из землянки под теплое солнце на свежий воздух, если, разумеется, не бомбят и не обстреливают. Между батареями возникло соревнование за первый поражающий залп. Это затея парторга Ковальковского и комсорга Хмелева. На 221-й вместо Ивана Никитича Маркина, отозванного на судостроительный завод, помощником командира назначен лейтенант Виктор Кошевский, у нас — Вячеслав Зайцев. Огорченный уходом Володи Игнатенко, Ковальковский внимательно приглядывается к работе и поведению новичка. Зайцев — молодой коммунист, и парторг кровно заинтересован в его успехах.

Зайцев не сразу привык к тому, что его командирской учебой и всеми делами интересуется старший сержант. На первых порах лейтенант обиженно поджимал губы и сухо отвечал Ковальковскому, обязательно подчеркивая каждый раз его звание. Но Николай Трофимович был человеком умным и хорошо владел собой. Он терпеливо объяснял Зайцеву, почему волнует секретаря партийной организации боевая подготовка коммунистов. Зайцев петушился, но поведение его менялось с каждым днем. Ковальковский хорошо знал настроение бойцов. Он умел подсказать лейтенанту, куда надо прежде всего пойти, с кем поговорить, на что обратить внимание, где сейчас он больше всего нужен и где получит наибольшую пользу и для себя и для дела. Зайцев научился прислушиваться к советам парторга. А Ковальковский так хорошо и быстро разобрался в его характере, что помог этим и мне скорее найти общий язык с помощником.



Я давно усвоил, что чваниться ни к чему, что к советам «нашего аббата» всегда полезно прислушаться. Он помог мне привести в божеский вид нового командира огневого взвода лейтенанта Шкутника, смелого и способного офицера, поначалу пренебрегавшего береговой службой.

Шкутника списали с корабля по болезни. Он гордился своей принадлежностью к «корабелям» и был очень удручен тем, что вынужден продолжать службу на берегу. Само собой разумеется, на корабле он тщательно следил за собой. А у нас «отставной корабель» пренебрежительно относился к форме и выглядел весьма неряшливо. Мои замечания, укоры, уговоры не действовали. Шкутник служил хорошо, и я уже решил махнуть рукой на его внешний вид: война, Север, землянки, бессонные дни и ночи, много ли тут спросишь с человека, если он сам себя не хочет уважать!

Ковальковский придерживался иной точки зрения.

— Он — командир огневого взвода, — сказал Николай Трофимович, — а матросы между собой называют его не Шкутником, а Шмутником. Неряшливость лейтенанта вызывает у подчиненных не только смех, но и неприязнь. Вы же знаете, товарищ командир, у нас любой матрос хоть осколком стекла, но побреется вовремя. Шкутник часто ходит небритый. И хотя он держится рубахой-парнем, матросам это не нравится. Они понимают, на корабле он не посмел бы так себя вести. Значит, не уважает береговую артиллерию. Этому ему не простят. Надо растолковать лейтенанту, чтобы изменил поведение.

Я попросил Ковальковского, как секретаря партийной организации, присутствовать при очередной беседе со Шкутником. Это принесло неожиданный успех. Лейтенант с искренним удивлением выслушал все, о чем спокойно, тактично, но напрямик сказал парторг. Оказывается, лейтенант думал, что на суше принят эдакий разудалый фронтовой стиль, что его небрежность, вольность в одежде придется по душе матросам. Ему казалось, что матросы будут смеяться, если он, живя в землянке, начнет драить пуговицы...

Было очень неприятно, даже обидно все это слушать. Когда-то и я мечтал плавать, но вот определили в артиллерию, которую горячо полюбил. Неужели же там, на море, свысока смотрят па нас, береговиков?.. За годы войны я не раз встречался с катерниками, подводниками. И никогда не чувствовал, чтобы к нам относились, как к «морякам второго сорта». Значит, дело не в этом! Ну что ж, жизнь научит молодого лейтенанта правильно вести себя...

Шкутник был честным парнем и слово свое сдержал. Мы с радостью видели, как на глазах менялся человек и менялось отношение к нему матросов.

А для нас в ту пору это было особенно важно! Батарея понесла столько потерь! Появлялось много новеньких. На приглядывание, «притирки» друг к другу

просто не хватало времени. Боеспособность же находилась в прямой зависимости от того, насколько слаженно будут работать малознакомые с нашей жизнью люди. Наш «завод», так назвал когда-то батарею полковник Алексеев, всегда должен быть отлажен, как часовой механизм. Но не так-то просто заменить в этом механизме людей, подобных Вениамину Кошелеву, опытных, надежных, проверенных боем...

В «Красном флоте» появились откровенные и правдивые статьи о положении на нашей батарее, прославленной к тому времени на всю страну. Корреспондент написал и про разбор, и про то, как нам попало, и про требования, предъявляемые войной: не повреждать, а топить корабли врага. Эти статьи, признаться, задели мое самолюбие. Тем более что иные начальники неправильно восприняли их. Таков был подполковник Плаксин, очень напоминавший убранного с полуостровов Долбунова. В самом непринужденном и даже ласковом тоне Плаксин считал уместным по всякому поводу напоминать нам об угрозе генерала, о перспективе попасть на юг или на Муста-Тунтури, о мешке с сухарями и прочем. Про подобные «шуточки» прознал полковник Алексеев. Не знаю, о чем он говорил с Плаксиным, но меня отругал за то, что проявляю мало самостоятельности и обращаю внимание на всякие мешающие воевать глупости.

Легко сказать «не обращай внимания на глупости», когда соседа от командования отстранили и такая же угроза висит над тобой. Быть ли мне на батарее, решит первый значительный бой. Я ждал этого боя и изводил себя осточертевшей шуткой о мешке с сухарями.

Бой пришел внезапно, как и все остальные. От прежних он отличался лишь тем, что дымовые завесы ставили уже не три, а шесть гидросамолетов. Конвой — транспорт и сопровождающие его катера и тральщики — находился от нас в 150 кабельтовых, когда гидросамолеты выпустили завесу в шесть ярусов. К тому времени и береговые пункты дымопуска так надымили, что мы перестали видеть даже самые высокие сопки на противоположном берегу. Что уж тут говорить про дым корабельных труб? Мы не могли обнаружить никаких его признаков. Теплопеленгаторная станция тоже не ощущала цели.

С шести направлений шли на батарею в звездный налет фашистские бомбардировщики. Шесть групп «юнкерсов». Тактика прежняя: часть — на подавление зениток, остальные — для удара по батарее. Но теперь и мы изменили тактику. В нашем распоряжении стало больше зениток. Они четко распределили между собой функции — одни работали на самооборону, другие прикрывали нас. Зенитки, выделенные для нашего прикрытия, молчали до поры до времени. Они вступят в бой в минуту прямой угрозы с воздуха.

И пошло, как всегда: бомбежки, зенитный огонь, стук пулеметов, еле слышный треск винтовок, грохот разрывов вражеских снарядов и ожидание. Выдержка и ожидание... Мы ничего не видели. За морем, скрытым сплошной белой мутью,

следили десятки глаз, десятки биноклей и стереотруб, мощные дальномеры и прицельные трубы наводчиков. За обстановкой на море наблюдал со своего командного пункта и Сергей Иванович Кабанов. Он слышал по прямому телефонному проводу каждое наше слово, все наши команды и переговоры, слышал и скрипучий голос Плаксина, на которого я старался теперь по совету полковника Алексеева «не обращать внимания». В разгар бомбежки и артобстрела Плаксин, находившийся далеко от нас, в полной безопасности, хихикнув, произнес:

— Федя, не забывай обещанного генералом!

Я смолчал. От напряжения слезились и болели глаза. То и дело повторял два слова: «Смотреть внимательно!» Раз началась бомбежка батареи, значит, корабли противника вышли на самый опасный участок своего маршрута.

Гидросамолеты крутились уже над входом в залив Петсамо, старались повыше поднять дымовую завесу.

Чуть правее мыса Ристаниеми в завесе образовались окна, и тотчас Глазков возвестил:

— Правее Ристаниеми транспорт!

Мгновенно я сориентировал батарею, и мы открыли огонь. А в телефонной трубке в эту трудную, напряженную минуту снова заскрипел тот же Плаксин:

— Смотри, не забывай про Муста-Тунтури...

— Сухари готовы! — закричал я и крепко, от души выругался.

«Скрип» прекратился, а у меня замерло сердце: сорвался все же, не выдержал. Но тут же услышал басистый смех генерала.

Поддержка поддержкой, однако все зависит от исхода боя.

Корпус судна показался в просвете завесы всего на мгновение. Не зря мы столько тренировались — первый же залп поджег транспорт.

Гидросамолеты развернулись на 180 градусов. Выпуская белые хвосты дыма, пошли по кругу, маскируя горящий транспорт и идущий в небо черный дым. Им удалось закрыть белой пеленой громадное пожарище. Батарея продолжала бить вслепую по площади, где находился транспорт, начала ставить плановый огонь по его маршруту. До нас докатился гул большого взрыва — мы решили, что транспорт взорвался.

Лопоухов во время боя сбил самолет. А у нас беда — вражеские бомбы попадали в район четвертого орудия. С командного пункта мы видели, как над орудием Игумнова поднялись бревна. Связь с ним прекратилась. Радист Коробейников безуспешно пытался вызвать четвертое по радио.

После взрыва на море мы прекратили огонь. Если даже транспорт и не потоплен, стрелять нет смысла: времени прошло достаточно, чтобы весь конвой добрался в залив Петсамо. Я побежал на четвертое орудие.

Вокруг позиции — разбросанные взрывом бревна. Правая сторона бруствера разбита и снесена. Возле орудия о чем-то горячо спорят Игумнов и Морозов. Морозов вдруг схватил Игумнова за руку и повернул в сторону третьего орудия, что-то объясняя жестами. Оказалось, оба оглохли и не слышат друг друга. В дворике лежали и остальные бойцы орудийного расчета, тяжело и легко контуженные. Все были живы, исчез только подносчик снарядов Ожигин. Примчались бойцы из других орудийных расчетов, разобрали обрушенный орудийный бруствер и наткнулись на чьи-то ноги. Из зарядной ниши матросы вытащили Ожигина. Фельдшер прослушал сердце, полез в сумку и достал шприц. После укола Ожигин открыл глаза.

Само орудие в полной исправности, контужен расчет. В ожидании госпитальной машины все пострадавшие собрались в землянке. Хмелев, Ожигин и другие матросы заявили, что в госпиталь не поедут. Трудно было их убедить — переговоры велись письменно. Игумнов и Морозов, наседая на своих подчиненных, сопровождали каждую фразу на листке бумаги многочисленными восклицательными знаками. Но когда дело дошло до них самих, тоже отказались ехать в госпиталь. Большими буквами я написал на листе четыре слова: «Приказываю ехать, разговор окончен».

Машины с контужеными провожала вся батарея. Хмелев из машины кричал:

— Мы скоро вернемся! Не грусти, Цыганок, про твой гарем еще поговорим на бюро!..

Цыганок — наводчик Алексеев, помрачневший после гибели Кошелева и Курочкина, молча смотрел вслед машине.

Алексеев оказался в последнее время в расчете Кошелева, когда он заменил Покатаева. В канун того боя, когда погибли его товарищи, он отпросился у меня на несколько часов в морскую пехоту, на передовую на Муста-Тунтури, в поход за котом, которого так долго и тщетно мы искали. Таким образом, он случайно остался в живых. Его теперь словно подменили — ни шуток не слышно, ни песен. Даже на письма девушек перестал отвечать. Ковальковскому он сказал, что только месть, только жаркий бой могут хоть сколько-нибудь успокоить его сердце.

Невеселые возвращались мы с Ковальковским с четвертого орудия. Желая разрядить атмосферу, я полушутя, полусерьезно спросил:

— Как думаешь, Николай Трофимович, собирать мне сухари?

— Это почему же?

— Плаксин обещал штрафную. Если транспорт не потопили, не командовать мне батареей.

— Транспорт потоплен — это во-первых. Мнение подполковника, который дергал нас во время боя, нам не указ, это во-вторых. И в-третьих: если транспорт даже не потонул, не наша вина, — твердо сказал парторг. — Генерал сам следил за ходом боя. Говорю вам это, товарищ командир, как коммунист, как старший по годам и как боец. Свое мнение буду отстаивать в политотделе...

Мы вновь укомплектовали расчет четвертого орудия и занялись боевой подготовкой людей.

Через пять дней на батарею вернулись все контуженные во главе с комсоргом Геннадием Хмелевым. Коллективный побег из госпиталя — только этого не хватало ко всем нашим бедам!

Хмелев уверял, что никаких неприятностей не будет: бежали все же не в тыл, а на фронт... Кроме того, «матросское радио» принесло весть, что транспорт потоплен.

— Как же было не доставить эту новость товарищам на батарею?! — обиженно закончил комсорг.

Нас, впрочем, уже известили о победе официальной телефонограммой: потопление транспорта подтверждено постами СНИС и разведкой. Транспорт засчитывается 140-й батарее.

Услышав это известие, Ковальковский многозначительно посмотрел на меня и с усмешкой спросил:

— Значит, обойдемся без сухарей, товарищ командир?!

«Обойдемся и еще повоюем вместе, милый ты мой друг», — растроганно подумал я.

Только не пришлось нам вместе долго служить и воевать. 13 июля 1943 года, в теплый и тихий солнечный день, погиб наш парторг Николай Трофимович Ковальковский.

Ничто в тот день не предвещало боя. И в небе и на море было чисто: корабли не шли, самолеты не летали. На орудийных двориках, устланных для маскировки зеленым дерном, шла напряженная учеба. После обхода боевых постов парторг заглянул в землянку к своему другу писарю Градину.

Нежная дружба связывала рослого, сурового, обычно немногословного Николая Трофимовича с щупленьким большеголовым заикой-писарем. Ковальковский называл его «бумажной душой». Градин первым пустил по батарее кличку «аббат». Никогда никого не обижавший Ковальковский донимал приятеля внезапными окликами: «Стой! Кто идет?» Градин неизменно вскакивал и, заикаясь, что-то бормотал. Мы знали, писарь старательно избегает встреч с часовыми: в ответ на внезапный оклик ему трудно выговорить свою фамилию, и часовым всегда приходилось вызывать начальника караула для выяснения личности задержанного. Ковальковский шутиливо донимал Градина и приветами от полковника Алексеева. Писарь краснел, но и тут не обижался на шутку, хотя вся батарея знала связанную с этим невеселую для него историю. Прошлой зимой по вине Градина, который не смог толком объяснить дорогу к конюшне, полковник Алексеев 40 минут искал запряженных для него лошадей. Не на шутку рассердившись, полковник приказал вызвать писаря на КП. От испуга и волнения Градин не смог вымолвить ни слова. Хорошо, что тут же случился Ковальковский...

И вот к этому, казалось бы, недотепе был так привязан Николай Трофимович. Только Градину рассказывал он о своей тоске по родным, о Севастополе, о планах послевоенной жизни. Может быть, потому, что лучшего слушателя, чем заика-писарь, трудно было найти.

Когда в тот день начался внезапный обстрел и взрывная волна выбила стекло в окне землянки, Градин, словно предчувствуя недоброе, стал уговаривать друга не уходить. У сигнальщиков Ковальковский узнал, что 210-миллиметровая батарея гитлеровцев ведет огонь по строительству нового КП. Он тут же позвонил младшему сержанту Виноградову в землянку хозяйственников, объявил боевую тревогу отделению пожарных и побежал к ним. На новом КП, как и предвидел парторг, после попадания снаряда возник пожар. Ковальковский повел туда пожарных отделения Виноградова.

До этого момента противник стрелял с большими интервалами. Он не торопился, видимо, анализировал каждое падение. Как только загорелась лобовая часть боевой рубки КП, гитлеровцы перешли на поражение, введя в бой и другие батареи,

Пылающие бревна, камни, горящий торф завалили выход из объятых огнем КП. А там солдаты-строители.

— Давай, ребята, шуруй! — закричал парторг и бросился спасать людей.



Ковальковский не успел разобрать завал. Шальные осколки почти начисто срезали у него руку и ногу. Раненого бережно перенесли в лощину. Здесь Николай Трофимович ненадолго очнулся. А через несколько минут умер на руках у товарищей.

Матросы отрыли вход в КП, выручили строителей, спасли ценную технику, оружие. Все происходило на виду у противника, продолжавшего зверский прицельный обстрел. Я доложил командиру дивизиона о двух прямых попаданиях в новый КП, о пожаре, о самоотверженности личного состава и гибели секретаря партийной организации батареи Николая Ковальковского. Попросил разрешения израсходовать 21 снаряд по 210-миллиметровой батарее.

Космачев молчал. То ли его поразило, что разбит КП, против строительства которого мы возражали, то ли задумался, стоит ли бить по батарее, которая, как все считали, закована в бетон. Я повторил просьбу, объяснив, что это желание матросов и им нельзя отказать. Нам разрешили произвести боевой салют.

Объявив тревогу, я скомандовал:

— За смерть Ковальковского — по батарее противника!..

— За смерть парторга Ковальковского! — дублировали мою команду на боевых постах.

Градин занес эту команду в журнал боевых действий. По его бледному лицу катились слезы. У меня тоже стало солоно на губах.

— Стрелять второму. Поставить на залп. Залп! Слышу разрыв снаряда на позициях врага. Но не вижу разрыва: тяжело стрелять по макушке горы. Ввожу поправку. Второй снаряд рвется прямо у фашистского орудия. Приказываю открыть огонь батареями:

— Четвертому — четыре снаряда, остальным — по пять снарядов, беглым.

— За Ковальковского!.. За парторга!.. За друга!.. — слышу голоса командиров орудий.

Гремят залпы. Снаряды падают у орудия противника. Там сильный взрыв, возможно, взлетел боезапас. Командир дивизиона приказывает прекратить огонь — надо экономить снаряды...

Позицию противника затянуло дымом: прямое попадание в орудие. Оно так и смолкло на угле возвышения. Развеена легенда, будто «дура» — башенная батарея. Оказалось, что батарея открытая, полевого типа; на немецкой стороне больше месяца торчал ствол разбитого орудия.

Мы похоронили Николая Ковальковского у небольшого безыменного озера рядом с Кошелевым, Курочкиным, Стульбой, Зацепилиным и другими погибшими героями. Матросы дали ружейный салют. Загремели залпы батарей Кокорева — это по пашей просьбе армейские артиллеристы нанесли внезапный удар по противнику в минуту, когда мы опускали гроб с телом Ковальковского в могилу.

— После победы здесь будет поставлен памятник героям, павшим в боях за Родину, — обещал над могилой майор Кушнир, заместитель командира дивизиона по политической части.

Я не смог выговорить ни слова. Ушел. Разошлись все. Только писарь Градин остался на могиле лучшего друга.

Через несколько дней газета Северного флота «Краснофлотец» посвятила памяти секретаря нашей партийной организации передовую статью и подборку из трех писем, объединенных общим заглавием: «Так умирает коммунист». Краснофлотец Аркадий Спиридонов, тушивший вместе с Ковальковским пожар на командном пункте, сообщил, что перед смертью, прощаясь с товарищами, парторг произнес:

— Матросы! Мне кажется, я не так уж дорого отдал свою жизнь...

«Что он хотел этим сказать, мы поняли, — писал Спиридонов. — Ковальковский был очень скромно и, наверное, в последнюю минуту своей жизни считал, что еще мало сделал для Родины. Но все батарейцы знают, что свой долг он выполнил до конца».

Иван Опов, наводчик орудия, которым снова командовал Покатаев, рассказывал, как воевала батарея после гибели Николая Трофимовича, как разбили «дуру» и как в очередном бою отличились установщик Полехов, зарядный Виктор и наводчик Горбачев из покатаевского расчета, добившиеся попадания в транспорт.

Третьим в подборке было письмо с подписью в траурной рамке. Это заметка Ковальковского, полученная редакцией за пять дней до его гибели.

«Приближается день расплаты, фашистское зверье ответит нам за свои злодеяния. Месть моряка будет жестока. Пусть помнят враги всех мастей, что Россия — великая морская держава — воспитала у своих огромных водных границ орлиное племя матросов, тех матросов, которые смело смотрят смерти в глаза.

Великий Октябрь видел матросов во всех концах страны, которые своей смелостью, отвагой приводили в трепет врагов. У матросов Октября, у таких, как Железняк, Маркин и других, учились мы, молодое поколение моряков.

...Нет! Не спасетесь! — завершал свою заметку Ковальковский, говоря о фашистских егерях, которые все глубже зарывались в сопки Заполярья. — Мы все помним и поклялись мстить всей своей душой, не жалея своей жизни, зная хорошо, что, если погибнет один, на его место встанут новые моряки-герои».

С такой верой в грядущую победу писал в июле сорок третьего года коммунист Николай Ковальковский.

## **ВСТРЕЧИ НА БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ**

Генерал Кабанов предоставил мне отпуск на Большую землю. Решение это я встретил настороженно: отдохнуть хотелось, но в то же время опасался, что друзья расценят этот отпуск чуть ли не как наказание. Ведь подполковник Плаксин на всех перекрестках грозил «освежить» батарею. Тревоги эти, разумеется, были напрасны. Отпуск предоставили не только мне. Генерал приказал сменить почти всех матросов 221-й Краснознаменной батареи, измученных двухлетней службой на переднем крае. Моих прежних подчиненных переводили на тыловую батарею к Володе Игнатенко, правда, и там люди не сидели без дела. В те дни батарея Игнатенко вступила в бой с фашистским кораблем, который преследовал в Баренцевом море нашу подводную лодку, и получила потом благодарность от командующего флотом и от командира лодки.

На «старушке» матросы долго и безуспешно уговаривали поехать на отдых Николая Шалагина. Он упрямо твердил, что солдату положено возвращаться домой только с победой, а не на погляделки. Я же мечтал не только отдохнуть, но и узнать о судьбе родных.

Ревниво и придирчиво смотрел я на своего преемника, малознакомого офицера Демченко. Казалось, он делает все не так: и к нашему прошлому вроде бы равнодушен, и с моими любимцами суховат. Наверное, я был несправедлив. Но что поделаешь, коли я до боли любил свою батарею и очень переживал за ее будущее. Прощался с батарейцами на огневой: подходил к каждому в строю и пожимал руку. Когда строй распустили, еще десятки раз пожал руку «старичкам». На прощание спели нашу любимую: «Плещут холодные волны...» Запел Кучменко, подхватили все. И я тянул: «Чайки, снесите отчизне русских героев привет». Пел со всеми и плакал. Да, плакал. Не мог сдержать слез, расставаясь с дорогими мне людьми, хотя понимал, что это никуда не годится. Коля Субботин, приподнявшись на носках, нашептывал, щекоча мне усами ухо:

— Товарищ капитан, Москве горячий привет, а комиссара расцелуйте.

Он знал, что комиссара, от которого мы не получили ни строчки, я обязательно разыщу. А я вот не знал, побываю ли в Москве.

В канун Дня Военно-Морского Флота генерал пригласил меня на праздничный ужин на флагманский командный пункт. После ужина мне предстояло сесть на попутную посудину и уйти в Полярный. Генерал спросил, есть ли у меня просьбы.

— Просьба одна: убрать людей, мешающих воевать...

— Знаю, капитан. Можете отдыхать спокойно. Значит, вернусь на полуострова. Так говорят лишь

с человеком, которого продолжают держать в строю.

В штабе Мурманского укрепленного района мне предложили ехать в Москву. Адресов много, больше всего артистов и писателей, которые побывали за эти годы на нашей батарее. Кинооператор Сергей Урусевский, служивший на Северном флоте, предложил даже ключ от своей квартиры. Но для меня главное — найти Виленкина. Я успел узнать: из госпиталя его отпустили домой, к семье, а семья, кажется, в Москве.

Поезда шли из Мурманска до Кеми под бомбежкой. Особенно беспокойно было в районе станции Лоухи: фронт находился почти рядом с железной дорогой. От Кеми поезд сворачивал на архангельскую линию, по новой ветке в обход блокированного Ленинграда, и прибывал в столицу со стороны Ярославля. Уже в пути чувствовалось, как тяжело тем, кто живет на Большой земле, может быть, даже тяжелее нашего — другой масштаб войны, другая мера испытаниям.

Москва, которую я знал плохо, лишь по недолгому пребыванию в ней весной 1940 года вместе с Роднянским по пути из Севастополя в Заполярье, показалась мне теперь совсем незнакомым городом — до того она изменилась. И народу в ней стало меньше, и одеты были все в армейское, и хотя воздушных тревог уже не было, но дыхание фронта чувствовалось во всем: всюду госпитали, полно раненых, не убраны еще ежи и всякие противотанковые препятствия на окраинах, к которым совсем недавно рвались армии врага. К военным относились с уважением, особенно к орденам на кителе, хотя ордена уже не были редкостью. Я это почувствовал, когда пришел в Центральное адресное бюро разыскивать следы Виленкина. Мои два ордена Красного Знамени произвели должное впечатление, и девушка, порывшись во всяких картотеках, определила по моим весьма приблизительным данным, где живет именно тот Виленкин, который мне нужен.

Я пришел на пятый этаж дома № 54 на Арбате, остановился перед дверью квартиры комиссара и, набравшись духу, нажал на кнопку звонка. За дверью послышался знакомый с хрипотцой голос:

— Кто там?

Я молчал, боясь назвать себя: кто знает, в каком состоянии комиссар.

Открылась дверь. Передо мной стоял комиссар с черной повязкой на глазу и папиросой в зубах (а ведь на батарее не курил!).

Не говоря ни слова, я обнял и расцеловал его.

— Кто такой? — взволновался Виленкин, ощупывая мою одежду. — Не узнаю...

— Может быть, пригласите войти, — сказал я, изменив голос.

Прошли в комнату. За столом сидели мужчина, не повернувший даже головы, когда мы вошли, и девушка, которая с любопытством стала меня разглядывать. Виленкин сказал:

— Вот, гость пришел. А кто — не знаю.

— Моряк, — подсказала девушка. — Капитан.

— Командир! — Виленкин бросился ко мне.

— Комиссар! Дорогой ты мой! Мы долго стояли обнявшись.

Наконец остались одни. Я стал расспрашивать Виленкина, почему не писал нам, как себя чувствует.

— Писать не научился, — с горечью сказал он. — Все надеюсь на лучшее...  
Может, стану видеть...

Я притих. До меня все еще не доходило, что Виленкин слеп. Один глаз завязан. Но второй? Неужели и второй?..

Виленкин подошел к телефону и, радуясь как ребенок, на ощупь набрал какой-то номер: вот, мол, научился!

Девушка и мужчина, которых я застал в комнате, были работниками общества слепых. Приходили уговаривать Виленкина стать председателем этого общества. На груди у Виленкина поблескивал новенький орден Красного Знамени. Комиссар только на днях получил награду из рук Михаила Ивановича Калинина.

— Что же ты решил насчет общества слепых?

— Пока не решил, — со знакомой усмешкой ответил Виленкин. — Посоветоваться надо. На войне — с командиром, а здесь — с женой. Я лечусь, командир. Больше для жены, чем для себя. Успокаиваю ее, а сам знаю, ничего из этого не выйдет. Вечная тьма... Я не отчаиваюсь. Просто сказал тебе правду. А при жене и сыне стараюсь быть веселым и беззаботным. Кажется, удается, особенно в последнее время, когда стали радовать сводки с фронта. Вот так, командир... Теперь рассказывай ты. Про батарею рассказывай. Ну, что молчишь? Все живы?

— Нет, не все. Война.

Губы комиссара побелели. Он положил руки на мои плечи и спросил, уставясь в меня невидящим глазом:

— Правду говори. Где Ковальковский?.. Так. А Кошелев?.. Так. А Хмелев, Субботин?.. Ах, живы! А Курочкин, Стульба?.. Как же так? Почему не уберег таких людей?..

Я рассказал ему — день за днем — про все бои на батарее.

В комнату неслышно вошла жена Виленкина, позвала нас обедать. Только тогда я понял: прошло уже несколько часов. Комиссар, наверное, устал. Но отказываться неудобно. Пообедали, посидели, договорились встретиться на другой день.

Я пошел по адресам, полученным от матросов. На Пресне в фабричном общежитии жили девушки, с которыми переписывались Курочкин, Алексеев и другие наши товарищи. Они встретили меня как родного и стали расспрашивать о своих заочных друзьях. Долго рассказывал я притихшим девушкам о наводчике Курочкине, о его чистых взглядах на жизнь, о его романтической натуре, о спорах с товарищами и о его гибели.

На другой день с одной из девушек мы пришли к комиссару — Виленкин заочно знал ее, она писала нам горячие письма. Краснея, она слушала, как я рисую комиссару ее портрет.

— Хорошие вы письма писали, Вера, — сказал этой девушке Виленкин. — Вы нам очень помогали там своими письмами.

— И нас радовали ваши ответы, — сказала девушка. — Мы на фабрике вслух читали письма ваших матросов. Не одна мать и плакала, и радовалась, и тревожилась, вспоминая своих сыновей.



В тот вечер Москва салютовала в честь освобождения Харькова. Я впервые видел салют. Из окна квартиры Виленкина открывался широкий обзор. В восторге от зрелища, я забыл обо всем и закричал:

— Смотри, комиссар, смотри, как красиво! Красные, зеленые, белые ракеты. Смотри!

— Это так красиво, как тогда, у нас, ночью? — глухо произнес комиссар. — Помнишь, когда прожектора ловили корабли! Или когда в сумерках стреляли по самолетам!..

Жена Виленкина и Вера плакали. Я онемел, поняв свою чудовищную неосторожность.

— Говори, командир, почему замолчал? Выручила жена комиссара:

— Яша, стреляют с крыши нашего дома. В небе множество разноцветных ракет...

Итак, Харьков наш. С каждым днем война все дальше откатывалась на запад. Фронт подходил к Днепру. Я посылал письма в Стайки, хотя там еще был враг. Зато, когда освободят, сразу дойдут и мои письма.

Весть об освобождении Киева застала меня далеко от фронта: неожиданно направили во Владивосток на курсы усовершенствования офицерского состава. Это решение командования я воспринял без энтузиазма. Утешало только, что на курсы отбирали опытных фронтовых офицеров, и каждого заверяли, что еще успеет как следует повоевать.

Странно было после Севера, войны, затемнения попасть в освещенный огнями город. Но это только видимая, поверхностная сторона жизни Владивостока. Рядом милитаристская Япония, и уже много лет Тихоокеанское побережье в состоянии боевой готовности. Там, во Владивостоке, внимательно следили за нашими боевыми делами. В училище, где находились наши курсы, распевали песенку, в которой поминался и балтийский артиллерист Борис Митрофанович Гранин, и автор этих строк.

В стенах родного училища, передислоцированного из Севастополя на Дальний Восток, собрались офицеры с разных флотов. Каждый час нежданной учебы мы старались использовать так, чтобы не совестно было перед товарищами на фронте за эту вынужденную благополучную жизнь в тылу. За линией фронта следили вся страна и весь мир. Но у каждого из нас была и своя особая карта, а то даже две — участка фронта, с которого мы прибыли во Владивосток, и родных мест, куда уже пришел или приближался фронт.

Первая весть за все эти годы — от брата Ивана. Он услышал про нашу батарею в одной из радиопередач, узнал, что я жив, написал письмо на Северный флот адмиралу Головкину, а тот приказал переслать его на курсы. Иван тоже воевал. Другой братишка, Петр, стал летчиком. О судьбе остальных Иван ничего не знал.

И вот 6 ноября 1943 года. Освобожден Киев. Я помчался на телеграф, чтобы дать телеграмму в Стайки. Но в наш район телеграмм еще не принимали...

Нескоро пришло оттуда первое письмо. Я получил его глубокой зимой. На конверте почерк отца — жив!

Вскрыв конверт, я осторожно вынул оттуда письмо, не зная, какие ждут меня радости или беды. Первое, что бросилось в глаза, — слова «умер Борик», это сынишка Максима. О себе отец сообщал коротко. В первый день войны вместе с экипажем земснаряда и всего каравана он попал под Брестом в плен. Немцы назначили командиром каравана какого-то поляка и заставили всех работать. Отцу удалось отпроситься ненадолго в Стайки, «навестить свою старуху». Он добирался до Стаек почти год, прибыл туда в мае сорок второго года на лодке Днепром. Сразу же кто-то донес об этом, и его вызвали в Киев, в пароходство, где работали предатели — украинские националисты. Отцу пригрозили расстрелом за саботаж. Он стал доказывать, что уже стар, в пути заболел и почти ослеп. С помощью врачей удалось это подтвердить, и его отпустили.

А в Стайках всю нашу семью, как и других односельчан, преданных Советской власти, преследовали полицаи. 14 апреля 1943 года гестаповцы и полицаи из националистов после пыток и издевательств загнали в три душегубки 64 человека наших сельских активистов, отвезли их в урочище Гаево и там некоторых полуживыми зарыли в яме. Семью нашу спас подпольщик Ваня Потобенко, работавший по заданию партии в немецкой комендатуре.

В канун освобождения Стаек фашисты замучили Ваню Потобенко. Его выдал предатель из нашего села, презренный гитлеровский прислужник. Семью нашу вместе с другими тут же арестовали и погнали к эшелону для отправки в Германию. Но в Жуковцах партизаны помогли всем бежать. Погиб только мой племянник Борик. Старуха Топчий из Жуковцев, связанная с партизанами, спрятала мою мать и всех остальных. Когда пришла Красная Армия, наши вернулись в родное село...

Повидаться с матерью и отцом мне удалось лишь летом сорок четвертого года. После окончания учебы меня снова направили в Заполярье, на Рыбачий. Добираясь с Дальнего Востока к месту службы, я на короткий срок заглянул в Стайки.

Дома я узнал много горького о жизни при фашистах, много страшного о гибели товарищей моего детства и много героического о наших партизанах.

Встретился я и с Надей, моей первой любовью. Она была, как многие женщины тех лет, в сапогах и мужском пиджаке. На лацкане пиджака орден Красной Звезды, только что полученный ею за подвиги в партизанском отряде. Надя воевала в подполье, там подружилась с хорошим человеком и полюбила его.

## ПОСЛЕДНИЙ ЗАЛП

Снова я на Севере, на Рыбачьем. Вернулся после учебы, боясь опоздать к моменту нашего наступления на этом участке фронта. Прибыл вовремя — моряки только готовились к нему.

Флотские товарищи не забывали меня во время отсутствия. Еще во Владивостоке по их представлению мне вручили боевой крест — орден Британской империи 5-й степени. Помнили меня и на батарее. Особенно часто приходили письма от матроса Любимова. Он и сообщил о гибели Коли Субботина: осколок вражеского снаряда пробил Николаю грудь. Погиб наш «хитрый артиллерист», погиб с обидой в душе, нанесенной ему перед боем: Демченко, по-своему наводивший порядок на батарее, приказал Субботину сбрить усы...

Когда я вернулся, 140-й батареей командовал уже не Демченко, а Вячеслав Зайцев. На полуостровах произошло много перемен. Появились новые батареи, оснащенные самыми современными приборами управления стрельбой. Рыбачий и Средний превратились в мощную крепость. Залив Петсамо надежно блокировался совместными действиями подводных лодок, торпедных катеров и береговой артиллерии. На Среднем стояла еще одна дальнобойная батарея, ею командовал капитан Артемов, у которого я начинал свою службу в Заполярье. 28 июня 1944 года эта батарея вместе с другими и с торпедными катерами потопила на подходах к Петсамо три транспорта противника. Один из них Артемов уничтожил на предельной дальности стрельбы. За нашим Краснознаменным дивизионом числилось около трех десятков потопленных судов различного тоннажа. 221-я и 140-я батареи за годы моего командования уничтожили в одиночных боях тринадцать кораблей.

После приезда меня назначили начальником штаба дивизиона на Рыбачьем. В дивизион входила и батарея Володи Игнатенко, где воевали мои старые боевые друзья. Из них была сформирована команда артиллеристов для захвата немецкой батареи на мысе Крестовом. Эта команда в составе десанта Героев Советского Союза капитана Барченко и Виктора Леонова захватила 150-миллиметровую батарею, не раз стрелявшую по нашим позициям, и из вражеских орудий открыла огонь по фашистам. А наша, 140-я, возглавляемая Вячеславом Зайцевым, поддерживала артиллерийским огнем действия 12-й бригады морской пехоты, прорывавшей оборону противника на хребте Муста-Тунтури.

В Петсамо, древней Печенге, высадили десант. 15 октября наши войска освободили порт и двинулись дальше на запад. Гоша Годиёв участвовал в этих боях на своем танке.

Для стационарной береговой артиллерии полуостровов война закончилась. Опустел Рыбачий. Почти все войска ушли в район Киркенеса.

Человеку, привыкшему к боевой жизни, трудно было найти себя в новой обстановке. Но через несколько дней опять закружилось довоенное колесо штабной жизни: боевая подготовка, пересоставление планов, практические стрельбы, строевые занятия. Жизнь входила в колею нормального рабочего дня, хотя на остальном фронте еще продолжались боевые действия.

Пришло письмо от наводчика Сергея Федоровича Рачкова, которому в мае сорок второго года оторвало правую руку. Он работал под Москвой председателем колхоза. Матросы в ожидании конца войны прикидывали, кто куда пойдет работать или служить. Черепанов теперь уже орденосец, с него давно сняли судимость за пресловутые два мешка сахару, решил остаться на сверхсрочной — он еще долго служил на полуостровах. Иван Оносов собрался на учебу в Одесское военное фельдшерское училище. Геннадий Хмелев стал комсоргом дивизиона, ему нравилась политическая работа. Петр Иванович Бекетов учился в Военно-политической академии в Москве. Покатаев продолжал служить на Севере, но перешел теперь на батарею к Володе Игнатенко.

Последние залпы мы дали 9 мая 1945 года вместе с артиллеристами всей Страны Советов. Мне позвонил начальник артиллерии СОРа и приказал приготовиться к стрельбе всеми батареями, но холостыми зарядами.

— Зачем, товарищ полковник?

— Слушай радио, поймешь!

— Победа! — закричал я и включил приемник.

Через несколько минут стрельбу отменили, предложили принять даже срочные меры, чтобы стрельбы не было. Но остановить салют уже было невозможно. Гремели залпы не только всех батарей, но всего оружия, которое имелось на полуостровах.

Пришел наш долгожданный день — День Победы.

## ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В годы, когда нашу страну рассекал фронт, левый фланг которого упирался в Черное море, а правый — в море Баренцево, я побывал в качестве корреспондента «Красного флота» на позициях двух крупнокалиберных морских батарей, разделенных расстоянием в несколько тысяч километров. Эти батареи стояли на флангах гигантского советско-германского фронта: одна — на высотах у прибрежного селения Кабардинка под Новороссийском, другая — в скалах Заполярья у семидесятой параллели. Батареями командовали два капитана — Андрей Зубков и Федор Поночевный, оба однокашники, воспитанники Севастопольского военно-морского артиллерийского училища, оба выпускники сорокового года.

Андрея Зубкова, ныне полковника, на Черном море прозвали тогда «новороссийским регулировщиком». Во времена, когда в сообщениях Совинформбюро часто упоминалось про ожесточенные бои в районе Новороссийска, батареи Зубкова, Челака, Матушенко, штурмуемые «мессершмиттами», помогли сухопутным армиям остановить врага на этом рубеже. Зубков и его артиллеристы блокировали Цемесскую бухту, не давали немцам использовать Новороссийский порт, держали под огнем причалы и улицы захваченного врагом города-фронта.

За четыре года войны левый фланг фронта перемещался много раз — от Измаила до Кавказа и от Кавказа снова вперед — через Севастополь, Очаков, Одессу на Днестр и Дунай. Менялись и левофланговые. Ими становились то знаменитая 30-я батарея в Севастополе, то батарея Зубкова, то пушки Неймарка под Очаковым. Стационарные батареи оставались там, где их построили. Другие морские орудия, поставленные на железнодорожные платформы, шли вдоль берега в наступление вместе с фронтом. Они вели огонь не по морским целям, а по сухопутному противнику. Так воевали артиллеристы флота на Черном море и на Балтике.

На Севере береговая артиллерия выполняла свое прямое назначение. Космачев, Поночевный, Соболевский, Игнатенко, Захаров били именно по морским целям — по боевым кораблям и транспортам врага. Федор Поночевный, ныне полковник в отставке, сражался там, где его поставили до войны, — на линии государственной границы.

На карте Европы в берег Кольской земли воткнут похожий на флажок полуостров. Это — Рыбачий, словно на древке полуострова Среднего соединяющийся у хребта Муста-Тунтури с материком. Батарея Поночевного находилась на полуострове Среднем. На Муста-Тунтури у пограничного столба матросы держали символическую вахту. Здесь врагу не удалось сбить с рубежа ни артиллеристов, ни пехотинцев, ни пограничников.

Воевать на полуостровах было сложно, и люди, там воевавшие, становились героями вдвойне: они побеждали и тяготы Севера и силу врага. И до войны слово «полярник» звучало в нашей стране и во всем мире как подвиг. Война расширила рамки этого северного подвига, он стал подвигом тысяч южан и степняков, понятия не имевших об испытаниях арктической жизни. Они пришли на черные скалы диких полуостровов и сумели там в силу необходимости и воинского долга стать не только полярниками, но и мужественными воинами. На берегах Баренцева моря не было танковых сражений, не было такого кровавого размаха войны, как на юге, но и война на Севере, пусть меньшая по своим оперативным масштабам, была трудна и героична, да к тому же необычайно значительна для судьбы нашей Родины: там на полуостровах не только блокировали порт, снабжавший фашистскую группировку войск, но и обеспечивали сохранность важнейшей морской коммуникации, связывавшей воюющую Советскую страну с внешним миром.

Готовя к печати воспоминания Федора Поночевного, я обратился к своим старым военным блокнотам. В них есть имена и комиссара Виленкина, и парторга Ковальковского, и командира орудия Саши Покатаева, «вечной памятью» отпевавшего каждый потопленный транспорт, и зарядного Аркадия Стругова, через руки которого за время боев прошло 40 тонн пороху. Встретилось мне и еще одно забытое имя, имя человека, волей обстоятельств связанного с действиями батарейцев. Это — разведчик Александр Юневич, вызвавший огонь на себя.

Передо мной записная книжка Юневича, оставленная им на нашем берегу перед уходом в разведку. Маленькая книжечка-дневничок с адресами родных и друзей, с короткими личными записями, дающими представление о воинском пути и о душевном состоянии владельца дневника в первый год войны. Юневич родился 18 ноября 1915 года в деревне Замосточье, Лясковицкой волости, Бобруйского уезда, Минской губернии. Он пас скот у чужих, учился в начальной школе, работал на лесозаводе, был рабфаковцем, потом служил в Красной Армии. Войну он встретил начальником гарнизона, охранявшего под Ленинградом железнодорожный мост, и членом Коммунистической партии. Отступал с боями. Взорвав мост, вернулся за секретным приказом, забытым писарем в караулке. Вышиб фашистов и выручил приказ. Потом вывел взвод в Ленинград и ушел на фронт. Шесть раз был ранен — четырежды на материке и дважды на Рыбачьем. На страничке, озаглавленной «Личный счет», записаны цифры 15, 11, 10, 21 и 10. Это число уничтоженных фашистов. Всего — 67. Как сказано в записях: за мать, за сестру, за других близких людей, страдавших под гнетом врага, за Октябрьскую революцию, на завоевания которой посягнул враг. В госпитале Юневич записал: «Сердце рвется на волю, рвется на фронт, но врачи не отпускают меня. Придет пора, и я снова буду в передовых рядах». В трудную минуту, в окружении, он сочинил стих — неуклюжий, но яростный и убежденный — о грядущем возмездии, которое ждет фашистов, о всенародном мятеже в самой Германии, о неминуемой победе. На Рыбачьем Юневич ничего



не записывал — разведчику вести записи нельзя. Разведчик сознает, на что он идет и что может случиться с ним в стане врага.

Рядом с именами Юневича и его товарищей у меня не случайно значится имя Бориса Ляха, командира североморского катера, Героя Советского Союза. Когда Лях ночью подходил с десантом к чужому берегу, его пассажиры находились в тепле под палубой. А когда надо было высаживаться, по мокрой палубе матросы расстилали сухие чехлы от орудий. В воду за борт прыгали матросы из экипажа катера, они держали на своих плечах сходнютрап. Разведчики сходили на берег, не замочив ног.

Так было и в ту ночь, когда катер остался в море ждать сигнала, чтобы снять разведчиков с материка. Снять их не пришлось: Юневич и его товарищи вызвали огонь Поночевного на себя...

Из таких штрихов складывалась героическая северная эпопея. В серии «Военные мемуары» есть уже такие яркие документы, как записки адмирала А.Г. Головки, летчика Сергея Курзенкова, разведчика Виктора Леонова, подводников Григория Щедрина и Ивана Кольшкина. Вслед за ними вступают в строй действующих и воспоминания командира правофланговой батареи Федора Поночевного. В этой книге мне кажется ценным то, что автору в меру его сил удалось не только воссоздать атмосферу тех далеких и дорогих для нас лет, но и критически осмыслить свой боевой путь, сохраняя при этом индивидуальность своего характера, своего взгляда на пережитое. Читаешь записки и чувствуешь живой авторский характер со всеми его достоинствами и недостатками. Пожелаем книге доброго успеха у читателей.

***Вл. РУДНЫЙ***